

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

ТРИЗНА



18+

«Как всегда у Мелихова, сюжет сам по себе не так уж и важен. Он служит не более чем наживкой, заглотив которую читатель внезапно обнаруживает себя посреди сложнейшего лабиринта мыслей, образов и ассоциаций. И выйти из этого лабиринта таким же, каким вошел, уже непросто». ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ

Большая литература. Проза Александра Мелихова (Эксмо)

Александр Мелихов

Тризна

«ЭКСМО»

2020

Мелихов А. М.

Тризна / А. М. Мелихов — «Эксмо», 2020 — (Большая литература. Проза Александра Мелихова (Эксмо))

ISBN 978-5-04-112785-5

«Александр Мелихов прославился «романами идей» – в этом жанре сегодня отваживаются работать немногие... В своём новом романе Александр Мелихов решает труднейшую задачу за всю свою карьеру: он описывает американский миф и его влияние на русскую жизнь. Эта книга о многом – но прежде всего о таинственных институтах, где ковалась советская мощь, и о том, как формировалось последнее советское поколение, самое перспективное, талантливое и невезучее. Из всех книг Мелихова со времён «Чумы» эта книга наиболее увлекательна и требует от читателя минимальной подготовки – достаточно жить в России и смотреть по сторонам». Дмитрий Быков

ISBN 978-5-04-112785-5

© Мелихов А. М., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Соединенные штаты мечты	8
Порог	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Александр Мелихов

Тризна

© Мелихов А., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

«Замечательный писатель Александр Мелихов написал свой главный роман. Грандиозные события, проехавшиеся по нам в последние десятилетия, уже начали закрываться туманом забвения, фотографиями собачек и тортиков на экранчиках смартфонов. И вдруг – роман Мелихова «Тризна», траурные проводы исчезнувшей было Вселенной – огромной, опасной, и что самое тревожное – состоящей из наших жизней, прожитых нами. Великое поколение! Сколько раз мы подвергались опасности, в том числе и со стороны нашего государства, как мы рисковали – и все равно в результате делали то, что хотели, что считали нужным. Сейчас так никто не может! Великое поколение, победившее тоталитаризм... и погубленное наступившей после него эпохой, которой до сих пор так и не удалось подобрать названия. Какие звезды сверкали в прежней Вселенной! В романе вокруг его эпицентра, главного героя Олега, какие траектории накручивают персонажи – казахи, евреи, русские, каждый со своим национальным характером, со своей придурью и главным страстным желанием – состояться. И ведь ничего не боялись! А если и боялись, то все равно делали. А какие женщины... Эх, мне бы! Жаль, не попались – а таких уже нет.

Последнее творение Мелихова счастливо сочетает в себе основательность советского производственного романа, лихость западного боевика и вестерна, страстность и высокую художественность русской классики: все сошлось здесь в бешеном хороводе, из которого не вырвешься, пока не кончится этот роман. Его, безусловно, можно поставить в ряд самых больших литературных событий всех времен. Не зря мы жили, если о нас пишут такие романы! Чувство нашей полноценности возвращается. Автор отыскал нашу гордость, затерявшуюся на дороге, в пыли, и, начистив ее до блеска, вручает нам».

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

«Александр Мелихов – один из самых бесстрашных писателей. Мало кто в литературе сегодня решается с такой хирургической прямоотой развенчивать мифы, кого бы они ни касались и кому бы ни принадлежали. Под его неумолимым скальпелем расползаются национальная гордость, стерильная любовь, высокий долг... и на юру под холодными ветрами скотской нашей жизни остается просто человек – беззащитный, мятущийся, частенько жалкий... но все же безумно желающий любви, понимания, толики ласки.

Вот это сочетание беспощадности и сострадания создает неповторимую интонацию талантливой прозы Александра Мелихова, – интонацию, которой не поверить нельзя».

ДИНА РУБИНА

«Как всегда у Мелихова, сюжет сам по себе не так уж и важен. Он служит не более чем наживкой, заглотив которую читатель внезапно обнаруживает

себя посреди сложнейшего лабиринта мыслей, образов и ассоциаций. И выйти из этого лабиринта таким же, каким вошел, уже непросто».

ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ

«Проза Мелихова для тех, кто ищет в литературе потаенных жизненных смыслов, мучительных загадок бытия и ради этого не боится преодолеть собственное чувство стыда. Душевный результат его прозы опрокидывает методы. Человек жалок, но именно поэтому нуждается в удвоенном, утроенном милосердии. ...Александр Мелихов – один из самых ярких и интересных прозаиков и публицистов, проживающих в Петербурге».

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

«Александр Мелихов прославился «романами идей» – в этом жанре сегодня отваживаются работать немногие... В своем новом романе Александр Мелихов решает труднейшую задачу за всю свою карьеру: он описывает американский миф и его влияние на русскую жизнь. Эта книга о многом – но прежде всего о таинственных институтах, где ковалась советская мощь, и о том, как формировалось последнее советское поколение, самое перспективное, талантливое и невезучее. Из всех книг Мелихова со времен «Чумы» эта книга наиболее увлекательна и требует от читателя минимальной подготовки – достаточно жить в России и смотреть по сторонам».

ДМИТРИЙ БЫКОВ

«Я очень люблю и ценю книги Александра Мелихова. У него удивительное качество выделки текста, все эти мелкие детали, ракурсы, оговорки, мимолетные размышления создают ауру, атмосферу, присущую только Мелихову. Где бы ни оказывались его герои – на далекой таежной шабашке, в научной лаборатории, в кафе, школьном спортзале, армейской казарме, на крыльце дома престарелых и даже просто в компании друг друга – они всегда остаются мелиховскими героями, чем-то похожими на самого автора – самоедами, интеллектуалами, скептиками, философами. И еще – неисправимо советскими людьми, которых не изменили ни тридцать лет постсоветской истории, ни сменяющие друг друга литературные моды. *Мелихов – настоящий медиум советского в отечественной литературе, способный вызывать голоса и образы из эпохи, которую уже мало кто помнит, и возвышать их до общечеловеческих смыслов».*

ВЛАДИСЛАВ ТОЛСТОВ

«Александр Мелихов в современной литературе – один из наиболее глубоко и нетривиально думающих писателей. Задачи, которые он ставит перед собой, не просто исследование явлений, но поиски путей выхода из фундаментального психологического кризиса, в который загнал себя человек».

ЯКОВ ГОРДИН

«Тризна» – вдохновенный, масштабный роман живого классика петербургской школы. Здесь сталкиваются гигантские континенты, великие исторические эпохи, откликающиеся в судьбах людей, завязываются в плотный узел непримиримые идеологии. И вся эта материя разворачивается в напряженных сюжетных линиях и жестком ритме слов, заряженных мощной

электрической энергией. Остается лишь поблагодарить автора за те часы удовольствия, которые нам доставляет его проза».

АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ

«Интеллектуальную прозу Мелихова можно назвать социальным камертоном. ...Самое опасное, считает герой Мелихова, когда в обществе побеждает простота утилитарности и греза начинает служить реальности: высшее – низшему. Протестуя против этого, Мелихов служит своей главной идее: не стремясь к высокому, не возвышая жизнь, человек будет навсегда отрезан от бессмертия. А значит – обречен».

МАРИЯ БУШУЕВА

ПРЕМИИ:

- Набоковская премия Союза писателей Петербурга (1993)
- Премия петербургского ПЕН-клуба (1995)
- «Студенческий Букер» (2001)
- Премия им. Гоголя (2003, 2009, 2011, 2017)
- премия правительства Санкт-Петербурга (2006)
- Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо»
- Премия журнала «Полдень, XXI век» (2008)
- Премия фонда «Антифашист»
- Победитель международного лермонтовского конкурса «Белеет парус одинокий»
- Премия журнала «Иностранная литература» (2015)
- Премия журнала «Звезда» (2017)
- Премия журнала «Зинзивер» (2017)
- Трижды финалист «Русского Букера»

Соединенные штаты мечты

Восточная стена форта считалась неприступной, а потому никем не охранялась. Но на последних шагах ему вдруг открылась темная, крадущаяся навстречу фигура, и он еще успел отметить ее стройные узкие бедра...

Однако он недаром когда-то днями напролет резался в городки: метнув томагавк горизонтально, словно баталку, он угодил часовому точно в горло, так что тот даже не успел вскрикнуть, – и только тогда до него дошло, что это была его собственная тень: солнце только-только проглянуло из-за горизонта своим огромным багровым краешком (промелькнуло, что угловой размер солнца неизменен, просто при восходе и закате мы невольно сравниваем его с разными земными предметами на горизонте).

Тревога была ложной, и все-таки томагавк вонзился в точности куда надо – между нижним брусом и обвязочной плахой, намертво насаженной на сваи, – вот и готова первая ступенька.

Однако он тут же понял, что если даже томагавк выдержит его вес, все равно непонятно, как его высвободить, когда он будет на нем стоять или даже на чем-то повиснет (он знал, на чем). Он выштал отточенное лезвие из щели и надежно засунул рукоятку за спину, за широкий ковбойский пояс из толстой седельной кожи. Дальше приходилось надеяться только на два мексиканских стилета. Он не раз убеждался, что если их засадить достаточно глубоко, то они легко выдерживают его вес, но он не раз убеждался и в том, что самое худшее всегда случается не в учении, а в бою. Единственное, на что в какой-то мере можно надеяться, это собственное тело. И те дни и часы, когда он до судорог учился подтягиваться на одной руке, не прошли даром: повиснув на рукоятках вбитых в очередную щель стилетов, он высматривал в пределах досягаемости новую щель, осторожно вышталывал левый клинок, подтягивался на правой руке (на левой он этому так и не выучился) и точным ударом левой обретал новый плацдарм для следующего броска.

Передохнуть он себе позволил лишь у самого верхнего среза стены, чтобы перемахнуть единым прыжком. Затем ухватился за кромку сначала правой рукой (его пальцы на неохраняемом участке часовые вряд ли заметят), осторожно высвободил левый стилет и опустил его в карман камуфляжного бушлата вниз полированной рукояткой из красной секвойи, затем, качнувшись, ухватился за край стены левой рукой и проделал то же самое с правым стилетом (не думать, не думать о высоте под ногами!). Затем собрался с духом (если фашистов не остановить здесь, в Америке, они подомнут весь мир, Америка не Испания...) и без малейшего усилия подтянулся на руках, закинул на стену сначала правый, затем левый локоть, отжался и сел на стену верхом, готовый при первом опасном движении метнуть стилет и скатиться на строительные леса, проложенные внутри вдоль стены.

– Наш лазун! – любовно приветствовал его оранжевый Анатолий, и Олег оказался на стройке, где все шло своим чередом: братва с ножовками и стамесками восседала, как и он, верхом на стене (его стилеты в карманах ватника тоже незаметно преобразились обратно в стамески) или копошилась внизу на светящейся свежим деревом решетке лаг для будущего пола, настилать который будут уже без них. А когда уж в этой будущей зале, на этой новаторской заполярной ферме поселятся коровы, знает только Клио. Или даже музе Истории известно только прошлое? А будущее известно лишь советским людям: кто-то решил, что в Заполярье должно быть свое молоко, и значит, это наступит так же верно, как и то, что на Марсе будут яблони цвести.

Олег знал, что над всеми начальственными начинаниями полагается насмешничать, но в глубине души он был бы совсем не прочь, чтобы на Марсе расцвели яблони, в тундре рядом

с оленьими стадами начали пастись коровы и он бы мог про себя подумать: и моего здесь капля меду есть. А между тем прощальная панорама тундры, оттого что она была прощальная, светилась совсем уже неземною красой. Когда еще не забывшие питерскую июньскую жару они высаживались на берег Клондайка, как они окрестили этот приток грандиозной сибирской реки, еще прежде переkreщенной в Юкон, тундра проглядывала рыжизной из-под сверкающего сверхплотного наста, дальние горы сияли вечными снегами, а среди ледникового озера, на которое потом все лето то садился, то взлетал этажерочный гидропланчик, плавала обширная асфальтовая оладья; когда через месяц они с Юрой Федоровым ходили в ночное на уток, им приходилось продираться сквозь зеленые кусты к шапочкам тумана, поднимавшимся над каждым водным зеркальцем, а сейчас все та же тундра светится алым, золотым, фиолетовым, аметистовым, перемежаясь седыми коралловыми полянами ягеля, на которые изредка выбредают стайки оленей, сплетающиеся рогами, словно окаменелые кустарники, ошестинившиеся каменными когтями. (Первопроходцы стреляли их с вездеходов, – но насколько же завлекательнее звучит: джип! – затем приподнимали за рога и, если туша казалась недостаточно жирной, стреляли следующего, – это так печально, когда хорошие люди творят мерзости...) Но с каждым днем бескрайние россыпи самоцветов все заметнее поглощаются всевозможными оттенками ржавчины вплоть до гор, погружающихся в нежнейшую голубизну (а извивы снега в распадках так за все северное лето до конца и не истаяли...). Ненадолго отступивший Рокуэлл Кент снова вступал в свои права – любой хоть чуточку отдаленный предмет вновь начинал овеиваться едва заметным сизым ореолом. А из-за дальних гор все ощутимее дышали холодом вечные льды Северного Ледовитого, куда неумоимо нес свои выпуклые воды могучий Юкон.

Но весь этот космос вошел в него единым вдохом и тут же исчез – в присутствии друзей все мироздание стягивалось к ним. Потому что это были лучшие парни в мире, великолепная дюжина. Все они пришли в науку не за какими-нибудь интегралами и протонами – за участием в Истории, как когда-то шли в конкистадоры или в народовольцы. А сейчас История творится у них на факультете, на ее зов, по ее силовым линиям туда и потянулась такая гениальная мужичина-деревенщина, как Обломов, породивший уже и собственное гравитационное поле.

Нет, Обломова в науку привела беда. Смышленный колхозный пацан (мать доярка, отца убили на войне) учится на колы и двойки, тем более что в школу нужно таскаться за пять верст, а он в пятнадцать лет разбирает и чинит любой мотор, квасит на равных со взрослыми механизаторами и на равных вваливается в правление качать права насчет запчастей; председатель налаживает его в шею, *Облом* подкидывает под председательское крыльцо откопанную в еще не заплывших окопах ржавую гранату, а граната возьми да и взорвись в воздухе. В ленинградском интернате для слепых Володька впервые только и заинтересовался, про что же там все-таки пишут в учебниках. Через год он был чемпионом Ленинграда по физике и математике (после награждения, сходя со сцены, не рассчитал ступенек и начал падать, но прыгнул на руки, сделал кульбит и снова оказался на ногах), еще через четыре досрочно и триумфально защитил уже опубликованную дипломную работу, а еще через два кандидатскую диссертацию, на том же совете переkreщенную в докторскую: посеченный осколками кряжистый колхозный гений открыл, почему в детерминированном мире работает теория вероятностей, сумел раскопать в хаосе кучу скрытых констант, – теперь это называется принципом Обломова.

Но колхозному хлопцу, мечтавшему когда-нибудь заделаться директором машинно-тракторной станции, всеми этими заоблачными абстракциями можно было заниматься только с очень большого горя, дело настоящих мужиков – налево достать запчасти и в соседнем колхозе обменять на самогонку, на колхозном тракторе, заправленном колхозной горючкой, вспахать бабам огороды и огрести за это три мешка картошки, а у тех, кто помоложе, и натурой прихватить... Ученую братию он так и продолжал считать маменькиными недоделками, уважал он только тех, кто ворочал тыщами народу, составами металла, гроздьями боеголовок, и потому его так и не удалось втянуть в научное фрондёрство: ну и что, что вы умнее в своих закорюч-

ках? – они вами командуют, а кто командует, тот и умный. Подкусывать ухмылками из-под лавки – это было не для Обломова: недоволен – подкинь гранату под крыльцо или заткнись. И когда Обломов пробился в любимые советники генералов и генеральных конструкторов, «чистые» ученые напрасно брюзжали о его карьеризме: он пробивался не в начальники, он пробивался в творцы истории.

И кому же было, как не Обломову, объединить в своем «Интеграле» (сам-то он понимает, что название пошлово, но для газетчиков в самый раз), так сказать, науку и, так сказать, жизнь? По части науки доложить на его семинаре рвутся умники от Берлина до Анадыря, и всегда оказывается, что он в курсе всего, из сложнейшего нагромождения умеет извлечь какой-то скелет, о каком и сам автор не догадывался. Иной раз этим скелетом уничтожалась вся работа: тут всего-то и делов – точка, точка, запятая...

Но иногда Обломов дает уроки... как бы это выразиться... не только науки, но и жизни. Если даже докладчик представляет диссертацию от нужного человека, от нужной конторы, Обломов все равно начинает строго. Он сидит за первым столом, и лица его не видно; впрочем, оно всегда непроницаемо, даже когда он шутит, только как бы нервно подрагивают углы губ. «О чем у вас первая глава? Так-так... Подпространство... Ядро... Разложим... Ортогональная проекция... Итоговая формула такая?» Кажется, что Обломов играючи жонглирует десятипудовыми гирями. «Такая», – упавшим голосом сознается докладчик. «Хорошо. Вторая глава?» – «Я рассматриваю нелинейный случай...» – «Так, раскладываем в ряд... Матричная экспонента... Ага, возникает периодичность... Значит, сходится за конечное число шагов?» – «Да», – жертва окончательно раздавлена. «Третья глава у вас последняя? В ней что? Приближенный метод при ограничениях? При ограничениях приближенного решения нет, есть или точное, или никакого, поправьте там у себя. У вас все?» – «Все», – голос казнимого почти не слышен, он пять лет над этим диссером корпел... «Кто у нас сегодня секретарь? Запишите: работа представляет важное научно-практическое значение и заслуживает присуждения...»

Поняли? То была наука, а теперь началась жизнь.

А через неделю Обломов разъясняет железнодорожнику устройство тепловозного тор-моза, а еще через неделю – авиаконструктору устройство высотомера, – чего-то они там недоглядели. А седая грозная шишка из Госплана, перед которой бегут на рысях две заполошные немолодые шестерки: «Где академик Обломов?.. Где академик Обломов?!..» – эта шишка после получасового выступления Обломова разнеженно приглашает Обломова на работу в Госплан: «Вы лучше всех моих подчиненных в экономике разбираетесь!» И правда, кажется, что Обломов всю жизнь только лабудой и занимался. Отраслевое планирование, территориальное планирование, в денежных показателях, в натуральных показателях, валовая продукция, реализованная продукция, рентабельность, предельная полезность...

Обломов диктует, кто-то из приближенных постукивает мелом по доске, но это именно приближенные соратники, а не шестерки. И чего бы только Олег не отдал, чтобы послужить гению хотя бы мелом! И надо ли удивляться, что Москва в конце концов передала все институтские лаборатории, где что-то делают руками, под руку Обломова. Обломов побывал и в Совете министров, у Косыгина, что ли. Олег никак не мог запомнить никчемные имена тусклых личностей, которых носят на палках во время демонстраций, а Обломов называл Косыгина Алексеем Николаевичем, с некоторой даже наставительностью рассказывал, что тот принял его в восемь утра, уделил ровно пять минут и за эти пять минут все понял и решил.

«Вот если бы все у нас так работали!..» – и это тоже был урок жизни: ученой братии совсем не обязательно о тех, кто наверху, говорить с насмешкой.

Боярский, правда, пробормотал: «Толку от их работы...» – пробормотал себе под орлиный нос, но ведь слепые, говорят, обладают феноменальным слухом... Зря Котище заедается.

Обломов настолько грандиозен, что давно заставил всех забыть о своем безвольном литературном однофамильце: у них в бригаде, да и во всем институте, Обломов один. Про его

«Интеграл», собирающий в единый кулак все науки со всеми практиками, говорят только так: обломовская контора, работает у Обломова... Судьба как будто нарочно наградила колхозного гения такой архетипической фамилией, чтобы вскрыть ее глубинный смысл: он не из тех Обломовых, которых жизнь обламывает, а из тех, которые обламывают ее сами. И напрасно завистники пытаются окрестить обломовскую команду обломками, – даже и они чувствуют в Обломове и его спутниках недоступную для них причастность к чему-то великому.

«И как же нам повезло, что мы оказались в зоне его притяжения!...»

А в груди что-то неприятно сжалось: в последний день перед шабашкой Обломов обратился к нему с утонченной вежливостью, на «вы», хотя за день до того попросил совершенно по-отечески: «Не в службу, а в дружбу, Олег Матвеевич, слови для меня такси», – Обломов всех называл по имени-отчеству, не одного Косыгина. Олег не гонялся, а прямо-таки летал за всеми пустыми машинами и на лестнице поддерживал Обломова под локоть, изнемогая от жалости и благоговения даже перед обломовским просторным костюмом, темно-синяя ткань и покррой которого ему брезжили только из далекого провинциального детства (снял с обиженного его председателя? Обломов и темные свои тускло поблескивающие волосы гладко зачесывал назад, как это Олегу помнилось из детства). Обломов же, наоборот, старался показать, что он в огромном городе как у себя дома: «Второй Муринский уже проехали? Там на углу гастронорм все еще на ремонте?» – и делал в сторону Олега движение синим пиджачным плечиком, далеко выпирающим за спинку переднего сиденья. Предложил даже домой к нему зайти на улице Петра Лаврова (и здесь История, Народная воля!), но Олег не посмел, хотя ужасно хотелось как-нибудь потом мимоходом обронить: когда я был у Обломова...

Говорили, у него там на пятерых сыновей с женой пятикомнатные хоромы с камином из правительственного резерва для выдающихся ученых, на тех, кто побывал в Обломовских палатах, смотрели с завистью (самые большие снобы роняли даже такое: «Вчера у Обломова коньяк жрал»), а его, Олега, Обломов пригласил целых два раза: «Да заходи, заходи, Олег Матвеевич, чайку попьем»...

И вдруг на следующий день это ледяное «вы». Неужели все-таки Боярского решил ему припомнить? Обломов в машине промеж того-сего спросил мимоходом через синее плечико, кто у них на курсе считается самым умным, и Олег назвал Боярского. И не удержался, добавил, что народ удивляется, почему на преддипломную практику, а это, считай, будущая работа, Обломов взял Мохова, а не Боярского. «И как же это объясняют?» – как бы даже с юмором полюбопытствовал Обломов, и Олег купился: по-разному говорят, кое-кто считает, что это антисемитизм. Обломов посмеялся как будто бы искренне (Олегу была видна только его щека в крупных гранатных оспинах): «Взял русского, а не еврея, значит, антисемит, – и пояснил доверительно: – Боярский и сам в науку пробьется, там, на речных судах, кстати, вполне серьезная гидродинамика, а Мохова если сейчас не поддержать, он так и закиснет где-нибудь на производстве. А он тоже умный парень. Кстати, ты знаешь, что у Боярского дядя закрытый членкор, лауреат Ленинской премии? А у Мохова дядя механик автоколонны. Про отца уже молчу. Сначала отсидел за плен, потом за растрату – такие вот из русских мужиков торговцы, теперь на инвалидности...» Конечно, конечно, я понимаю, закивал Олег так усиленно, как будто Обломов мог видеть его усердие, и Обломов прощался и благодарил его со столь царственной сердечностью, что Олег впервые не спешил отвести взгляд от затянутых ввалившимися веками ямок на месте обломовских глаз. Обломов походил на изваянного из мрамора римским скульптором маршала Жукова, над которым поработали молотком и зубилом средневековые монахи, приняв его за идола.

Может, это «вы» просто случайность? А вот к Галке Обломов обращался с некоторым тигриным мурлыканьем в голосе...

Бывалый Грошев даже пошутил бестактно: «По-моему, он глаз на тебя положил». Все сделали вид, что не расслышали. Но через полминуты Боярский все-таки не выдержал: «Если

глаз твой тебя соблазняет...» – и Галка тут же откликнулась, тоже как бы про себя: «У меня от его голоса просто мороз по коже, хочется вытянуться по стойке смирно». А Олегу наоборот – хочется броситься в какой-то бой за великое дело.

В их компашке по отношению к Галке никогда не просквозит ни малейшего заигрывания, она свой парень. С Галкой – маленькая атаманша, любимая сестренка, дочь полка... – их даже чертова дюжина. Включая его самого – и он, значит, тоже кой-чего стоит, если эти орлы держат его за своего. Он, Олег, он же Сева (Евсеев – Сева), – самый дюжинный на этой шабашке, но – он тоже каким-то чудом умеет создавать свою гравитацию. Ему еще давно открылось, что все реки и ручейки виляют туда-сюда, подмывают берега, разливаются, сливаются, но на самом деле стремятся в глубину, в самую глубокую глубину, куда их влечет гравитационное поле. А изменится поле – и реки переменят русла. А приблизится новая планета – не только реки, но и водопады начнут отклоняться в ее сторону. И чем огромней ее масса, тем сильнее и отклоняться. А может она оказаться и такой громадной, что и реки потекут в небо, и воздух устремится ввысь, и земля останется безводной и безвоздушной пустыней, а планета-убийца этого даже не заметит, ибо вина ее только в ее громадности, – она высосет и опустошит землю, и полетит себе дальше, покуда какое-то еще более грандиозное светило не высосет и ее.

Что-то похожее творит и пресловутый *дух времени* – все мысли и стремления он отклоняет туда, куда ему угодно, но вот он иссякает – и все помыслы и грезы возвращаются на землю, и каждого тянет оставаться там, где он стоит.

Но покуда он, Олег-Сева, сам не понимая как, своими выдумками тоже ухитряется подтягивать в свою сторону парней куда покруче его самого. Сейчас подсел он на Америку Джека Лондона, наткнувшись в местном библиотечном бараке на его лиловое собрание сочинений, – и вся бригада потихоньку начала здешний порт именовать Доусоном, поселок Полярный, где они возводят коровий особняк на сваях, Сороковой милей, великая сибирская река с ее притоком превратились в Юкон с Клондайком, а узкоглазые аборигены (даже местные работяги толком не знали, ненцы они, долгане или нганасане – нацмены да и все: «нацмена комары облепят, а ему по хер») то в эскимосов, то в алеутов, то в тлинкитов, инуитов, атабасков, хотя все эти прекрасные созвучия означали всего лишь «люди» или «настоящие люди», исключая поедателей сырой рыбы эскимосов...

Любой порядочной стране нужен свой фронтир – зона расширения мира, прорыв в небывалое, гравитационное поле для романтиков и авантюристов, которые и творят Историю. *А у нас наше начальство отняло Историю, – «под руководством коммунистической партии» – какая тут может быть романтика, романтический герой должен противостоять начальству!*

Это пипл сразу просек, и распухшие «Три мушкетера», некоторое время покочевавшие с койки на койку, в конце концов обрели покой в Галкиной светлице, где их никто не брал и не берет, после того как Олег открыл народу глаза, что во всех своих подвигах мушкетерская компашка хранит верность *начальству*: тьфу! Не то что Три товарища!

Но ведь и Три товарища не могут перекрестить гнусный игольчатый гнус в *москитов*! Без американских друзей никуда.

Здесь комаров, правда, так и продолжали именовать вертолетами – уж больно они были мясистые. Орегонские лесорубы рассказывали байки про комаров, до того раздувшихся, что им ничего не стоило пить кровь сквозь бревенчатые стены, но и тутошние были не подарок: резко взмахнешь топором, так обязательно закашляешься – вертолет вдохнул не в то горло. Обычно его удастся выхаркать, но иной раз и проглотить. Что, мяска откусал, непременно пошутит кто-то, а бывалый Грошев авторитетно заверит: «Комаров нормально можно жрать. Вот если муху проглотить, обязательно будешь травить. Даже если не заметишь». А Боярский через два раза на третий напомним: «У правоверных иудеев в шабат убийство комара прирав-

нивается к убийству верблюда», – чтобы не подумали, что он стыдится своего еврейства. (Зато у Бори Каца по кличке Кацо при слове «еврей» делается ужасно печальный вид.)

Но в последние дни вертолеты, похоже, стали на зимнюю стоянку, зато москиты вопреки половице стараются насосаться перед смертью. Здесь, наверху, их сдувает ветром, но зато ночью всегда просыпаешься расчесанным до крови. И если бы эти гнусные твари звались гнусом, а не москитами, терпеть их было бы совсем уж невыносимо.

Это самки, кстати, у них такие злобные, время от времени напоминает кто-нибудь из парней, и Галка эти напоминания отчасти принимает на свой счет: «На себя лучше посмотрите!» – и, блеснув мохнатыми детскими глазенками из-под упавшей темно-русой челки, на мгновение делается похожей на хорошенькую обиженную болонку. Всегда немножко удивляешься, когда Галка принимает какие-то шуточки насчет женщин на свой счет: она так старательно косит под своего парня – руки в клеш, тельняшка под ковбойкой, солоноватые словечки, которые даже Лбов при ней с усилием, но обходит...

Когда она дерзко встряхивает челкой, то становится похожей на хорошенького хиппующего нахимовца. Хотя настоящий нахимовец у них Пит Ситников. А у Галки бедрашки-то все-таки для нахимовца слишком уж заметно распирают брюки клеш, глаза невольно присасываются, помнят, что они все лето здесь торчат без женщин, уже к дочурке полка начинают клеиться, на своих кидаться – стыд и срам...

А где-то бабы живут на свете, сидят друзья за водкою... Здешних теток в ватниках никак нельзя принять за женщин, даже Бахыт быстро перестал просить Олега свистеть им вслед в два пальца колючком, – Олег умел это делать (наследие тяжелого детства), а Бахыту удавалось извлечь из своих пальцев лишь яростное шипение. Некую пленительность источает одна только разве что молодая библиотечка в отливающем голубым автолом плаще-болонье, который Лбов именует гондоном. Но более всего ее украшает то, что она проводит дни среди благородно серого Чехова, коричневого с золотом Толстого, лазоревого Бунина – начинаешь невольно уважать советскую власть, доставившую эти сокровища на Сороковую милю, где их никто не брал и не берет. Парни и начинают чуть ли не носить за нею шлейф, когда ее изредка удается зазвать к ним в барак, – Галка очень быстро начинает дуться. Свой парень своим парнем...

В данную минуту Галка формирует обеденное меню: «Так что вы лопать-то в конце концов будете?» – и фигурка у нее снизу, как ни отводи глаза, все-таки очень аппетитная. Да и ватничек на ней сидит, будто мундирчик, как-то очень ладно она его под себя подогнала.

А у парней рядом с нею, как на подбор, узкие бедра, настоящие ковбои. Притом на обоих – и на Бахе, и на Коте потрепанные фирменные джинсы, Бах во Вранглере, Кот в Лях (Wrangler and Lee) – ковбои в ватниках в Заполярье, победа социализма в мировом масштабе. Вернее, Кот, он же Костя Боярский, в Ленинграде более известный под кличкой Грузо из-за подбритых усиков под орлиным носом (такие вот у них евреи – Грузо и Кацо), здесь *на северах* при выющейся антрацитовый бороде и обширном алом берете больше смахивает на Фиделя Кастро, сдвинувшего набекрень нимб восходящего солнца свободы, и кажется, что алые отсветы у всех на лицах не от поднимающегося все выше солнечного диска, а от его берета. А Бах, он же Бахыт Мендыгалиев, в заливчатски заброшенной на затылок линиялой коричневой шляпе (ее Олег раскопал в общажном шкафу, Бах попросил померить и не смог расстаться: это же *стетсон!*) вылитый индеец, прибившийся к американским старателям. Последний из могикан. На какое-то время к нему пытались приспособить кличку Ункас, но он на нее не откликался, и она отпала: обижать у них никто никого не хочет. Видно, гравитационное поле его казахского рода все еще его не отпускает, раз он до такой степени не желает даже шуточных намеков на этот счет. А власть американского поля – это пожалуйста. Это понтово. Или, наоборот, несерьезно, откровенная игра?

– Так свинину готовить или осетрину?! – наконец теряет терпение Галка, и все пилильщики, тесальщики, сверлильщики, долбильщики – кто на стенах, кто на лагах – на минуту замирают: не рассердилась ли она всерьез? Свой парень своим парнем, а все равно они невольно состязаются за Галкину улыбку или мимоходом брошенное ласковое словцо, – одно дело любовно ее поддразнивать, и совсем другое – рассердить всерьез.

– Свинина жирная? – первым разряжает напряжение Лбов.

Он многозначительно насуплен, значит готовит какую-то хохму.

– Довольно-таки жирная. А ты что, на диете? – Галка тоже чувствует какой-то подвох.

– Нет, боюсь, ноги будут мерзнуть.

– Опять гадость какая-нибудь? – одобрительно интересуется Галка, и ответом ей служат подавленные ухмылки и блудливо косящие глаза: Лбов уверяет, будто от свиного сала одеяло ночью поднимается так высоко, что на босые ноги его уже не хватает.

– Не можете без похабщины! – восхищенно встряхивает челкой Галка и выносит приговор: – Значит, на обед будет уха и отварная осетрина. А если кому будет мало, пусть добирает свининой, я на всякий случай потушу.

– Галочка, – нежно интересуется Боярский, – нам с Борей один черт – и то, и другое не кошер, но чем отличаются вареная и отварная?

Боря печально отводит глаза, а Галка отбрасывает:

– У Севы спроси. Он у нас самый культурный. Вареную варят, а отварную отваривают, в столовке вареная, а у меня отварная, – в первые дни в Доусоне они кормились в столовке рыбккоопа, и Галка постоянно ворчала, что там портят деликатесную рыбу, сига, чира, нельму жарят, как минтая, на подсолнечном масле. А парням было все равно вкусно и весело: кассирша их обсчитывала, а они зарывали в картофельное пюре дополнительные порции рыбы и потом азартно прикидывали, кто же кого в итоге одурачил, – в жизни всегда есть место спорту. Да и звуки каковы – нельма, оленина!.. Ну и что, что она сухая и с душком, из-за которого некоторые аристократишки не могут ее есть, – ведь нет ничего важнее звуков!

Доусон – словно давний сон: набирающая силу утренняя жара, элегантное Пулково с опрокинутыми стеклянными стаканами над головой, сухое вино в буфете, локально выпуклые пространства в самолете – и вдруг чугунный снег, облупленные блочные здания на бетонных сваях, обшитые досками толстые трубы, напоминающие бесконечные, попикивающие паром бочки (вечная мерзлота не приемлет тепломагистралей), уложенные на козлы вдоль пары центральных улиц, а в поперечных переулках чернеют бревенчатые бараки на низеньких колодезных срубах да еще реденькие балки, вагончики на полозьях, изнутри обитые оленями икурами – брошенные, распадающиеся, они выглядят через выбитые окна шелудивыми какой-то особенной, северной шелудивостью – внутренней. Среди этих роскошеств даже на жалкий советский классицизм двухэтажного желтого исполкомчика ложится отдаленный отсвет красоты. Все-таки те, кто его слепил, что-то слышали про Парфенон или хотя бы видели тех, кто про него слышал. Но Север, Север-чародей – никакого советского занудства, никаких справок, приемных часов – сразу же кабинет главного архитектора, свойского мужика в байковой свекольной ковбойке, всего лет на десять-пятнадцать их постарше, все по-свойски рассаживаются где придется, включая пол и подоконники (Галке уступлен центральный стул перед главным канцелярским столом), тут же вызывается по вертушке начальник строительного треста (человек-гора, шепчет Бах Олегу и Юре Федорову, и Юра, кандидат в мастера по штанге в полутьме, ревниво хмыкает: таких амбалов в раздетом виде нужно смотреть...), всем разливается по стакану желтоватого «Горного Дубняка» (на целый день душистая отрыжка), и главный архитектор осуждающе указывает на строительного босса: «Не могу смотреть, как он пьет. Выпьет и вместо закуски три раза крутит ручку арифмометра». Арифмометр «железный Феликс» у него на столе точно такой же, как у них на выч-

практикуме, и они по очереди привычно прокручивают крошечную рукоятку, а Галка делает только один глоток и передергивается. У всех на лицах поверх сдержанной гадливости проступает умиление (только женичины и дают нам возможность почувствовать себя большими и сильными), а главный архитектор оживленно интересуется: «Помните, бич покупает два тройных одеколона и один цветочный? Продавица говорит: брали бы уж все тройные, а он отвечает: с нами дама».

На Северах бичами называют тех, кого на материке зовут бомжами. Бича иногда расшифровывают как бывшего интеллигентного человека, но его происхождение от beach – матрос, застрявший на берегу – романтичнее, как все, что связано с морем и Америкой.

И еще вспышка, а за ней еще и еще, и еще...

Золотисто-кучерявый прораб с мордовскими скулами Сашика Косов, пара-тройка последних «Дубняков» на дорожку, музыкально бренчащий, словно ксилофон, дощатый тротуар, по которому нужно идти посередине по одному, иначе может внезапно взлететь плохо прибитый конец почерневшей доски, о который споткнется тот, кто идет рядом или следом, необозримый штабель бревен, который в вышине ворочают толстыми жердями не по-хорошему веселые парни в ватниках...

Сашика сурово сообщает им, что должен заглянуть в кузницу – там вчера его пацана обидели. Зови их сюда, мы их по баланам покатаем, веселятся парни, но коренастый крепкий остается торжественным, какими бывают лишь очень глупые люди в предпоследнем градусе опьянения. Он скрывается в длинном сарае, в глубине которого что-то вспыхивает, и выходит оттуда еще более непримиримым с красным пятном на скуле; затем возникает и гаснет черное дощатое крыльцо черного бревенчатого барака «на городках» и – обыкновеннейшая канцелярия внутри: выдавшие виды столы, папки, тетки, дыроколы, которые Кот именует колодырами, и двое первых серьезных мужчин в пиджаках – остролицый стальнотупый Ковель и ответственно брызгливый Сергей Сергееч в густой шапке выющихся черно-седых волос, напоминающих заячий мех.

Косов выставляет на стол Ковеля еще два невесты откуда взявшихся «Горных Дубняка», но ответственные мужчины с неудовольствием отмахиваются, а парни уже не хотят злоупотреблять его щедростью, кроме бывалого Грошева, который никогда не упустит, и Кота, который никому не уступит. После завершающего стакана Сашика долго сидит неподвижно, погрузив лицо в ладони, но восстает из отключки полный решимости.

– А где вторая бутылка? – он вливается в Ковеля мутным грозным взглядом.

– Откуда я знаю?

Бутылка и впрямь исчезла, будто в цирке.

– Ладно, забиррай... нно сморри...

Ковель только смеивается на удивление естественно: зра, зра подозревайшь...

Косов ложится животом на его стол и долго лежит (на следующий день бутылка обнаруживается на внутреннем выступе стола, но как она туда попала, одному Господу ведомо), однако минуты через две восстает: «Пошли за молю!» – даже бывалый Грошев не знал, что молю зовется молевой сплав – разрозненные бревна.

Великая сибирская река – не поверишь, что это река, – ее полированная сталь так явственно вздывалась и уходила за горизонт, что было очевидно: за горизонтом синее не другой ее берег, а именно горы на другом, невидимом берегу. Внизу на водной глади стыли океанского размаха, но совсем не впечатляющие в сравнении с рекой, сухогрузы; справа под ногами виднелись портовые краны, пред лицом этого величия тоже державшиеся очень скромно. Сверкающий ковром пустых бутылок чугунный снег на длинном спуске был прорезан глубокими руслами весенних все-таки потоков, рвущихся из-под казавшегося нерушимым наста к речной шире из-за невозможности устремиться в глубину. Через самый мощный Минитерек уже была переброшена двустволка схваченных скобами ободранных бревен, и Косов, которого

«Горный Дубняк» безжалостно мотал из стороны в сторону, ни мгновения не поколебавшись, шагнул на этот Чертов мостик и тут же оказался по пояс в воде, которую даже трудно было назвать грязной – не считаем же мы грязью землю. Непримиимо борясь с течением, Косов пересек стремнину и выбрался на четвереньках на полулед-полуснег, отказавшись принять руки, которые, одолевая брезгливость, протягивали ему парни. Теперь с него лилась уже чистейшая грязь, но он не желал и слышать, чтобы отложить экспедицию. «Северряне не сдаются!» – рычал он и, мотаясь, оставляя за собой грязевую дорожку, пробился-таки к тарахтящему трактору, катающемуся своими огромными задними колесами и несерьезными передними по оттаивающей гальке, по которой были разбросаны полированные опаловые льдинки размером с опрокинутый платяной шкаф, толщиною упирающиеся в подбородок. Повидавшие виды бревна тоже усеивали берег, докуда доставал глаз.

Матерый шабашиник апельсинно-рыжий Анатолий, закончивший курсы стропалей, по-быстрому показал, как набрасывать лассо из мазутного троса на бревно, а потом крепить трос к могучему крюку на тракторной корме (казалось, ты перетягиваешься с трактором, но в последний миг нужный узел затягивался, и всю тракторную силу брало на себя захлестнутое тросом бревно). Штабель рос так быстро, что усталость ощущалась скорее недоумением, почему все труднее бороться с трактором и все мучительнее сжимать пальцы в брезентовых рукавицах, – солнце-то за дальние горы все не садилось и не садилось...

Тракторист тоже оказался на сделычине, и охота на моль завершилась лишь тогда, когда трактор ухнул передними колесами в промоину и его обнаженный двигатель предстал выпущенными внутренностями. Как странен был спящий мир, над которым сияло низкое солнце! И как сладок сон на сдвинутых канцелярских столах, к которым выходили на разведку осторожные небольшие крыски, коих Олег тщетно пытался заманить ускользающим хвостом брючного ремня! Мышка не кошка, за хвостом не гоняется, наоборот – замирает на месте.

Галка, пристроенная в общежитие итээров, слушала их рассказы со смесью ужаса и зависти. И до того сделалось обидно, когда в груди за костяным желобком он ощутил семечко тоски, которое теперь будет расти и разрастаться, пока не заполнит болью все до кончиков пальцев. А ведь раньше трудная мужская работа за полчаса делала его большим и сильным, настоящим мужчиной, а теперь – сам наутро бабой стал? Именно по Светке была его тоска, скрашивали которую только ритмические касательные удары сверху вниз по струнам баховского «банджо»: от злой тоски, трам-пам, трам-пам, не матерись, трам-пам, трам-пам, сегодня ты без спирта пьян... (Почему, тсамое, банджо, а не гитара, возмущался Мохов; почему тогда уж не балалайка, откликался Боярский; бандура, пристукивал кулаком Тарас Бондарчук; сойдемся на домбре, примирял Бахыт.)

Тоска переходит почти в наслаждение, когда приобщишь к ней целую вселенную: на материк, в густой туман ушел последний караван...

Но когда в черной избушке на курьих срубках уже, кажется, начинающая презирать тебя тетя за прилавком три раза в день отвечает, что Евсееву до востребования никакой корреспонденции нет, а ты все равно царапаешь что-то бодрое школьным пером на обороте телеграфного бланка, а потом царапаешь еще и на конверте название странного поселка со странной Привокзальной улицей и совсем уже дурацким домом 14, где тебе вроде бы предстоит навеки поселиться, то понемногу становишься не просто несчастным, но еще и маленьким, если только это не одно и то же.

Светка так радуется – у нас теперь будет свой дом! – что он сразу же спешит вспомнить о каком-то срочном деле, пока она не успела заметить на его лице скуку и тоску, – ее почти невозможно обмануть. А он бы лучше всю жизнь прокантовался в общежитии – и о мебели думать не надо, и белье меняют, никаких тебе прачечных и стирок... Нет, пускай все это скука и тоска, но ради Светки он готов и растрачивать жизнь на диваны и прачечные, и

приковаться к одному адресу, хотя его адрес не дом и не улица, его адрес Юкон и Кордильеры, Атлантика и Онтарио, Миссисипи и Южные Моря...

– Олежа, але, ты где?

Господи, откуда здесь Галка?

– Вспоминаю, как в Доусоне наряды закрывали.

Когда стащенные в кучу бревна уже плавали в «гонке» друг у дружки на голове и на боках, охваченные выпуклой ломаной линией спаренных бревен, скованных ржавыми кандалами, пришла пора закрывать наряды. Когда кончают делать и начинают делить, вся романтика немедленно испаряется, спасает только, если превратить это в спорт. Бывалый Грошев с третьим Юрой Федоровым понаприписывали всевозможные транспортировки и штабелевки, вполне, впрочем, правдоподобные – если смотреть на них доброжелательным взглядом. А чтобы сделать взгляд Сергея Сергеевича доброжелательным, решили завалиться к нему домой с угощением. «Горным Дубняком» здесь были заставлены все полки в рыбкоопе, благороднейшей рыбы тоже было завались, – «лучшая рыба колбаса», правда, водилась только ливерная, которую и они уже звали по-местному: «Люсенька, дай полметра серенькой», – но под «Дубняк» вполне себе шла. Жаль только, от одних воспоминаний о его душистой отрыжке теперь начинало мутить.

Сначала решили, что с народом лучше всех умеет говорить бывалый Грошев (Федоров чересчур здоровый, может напугать, Кот похож на грузина, их считают хитрецами, не говоря уже о евреях, Мохов чересчур правдолюбивый, Лбов бесшабашный, Бах гоношистый...), но Галка предложила в парламентареры еще и Олега – для интеллигентности.

– Какая на Северах интеллигентность, горлышко показать... – хмыкнул Грошев с прожженной усмешкой, подкручивая белесую щетинку еще не оформившихся усов, похоже, воображая их чапаевскими.

Но когда после их звонка на замызанную лестничную площадку надменно выступил черно-седой Сергей Сергеевич и Грошев с неким подобием подмигивания действительно показал ему из рюкзака бутылочное горлышко, тот оскорбился не на шутку:

– Вы что, за бутылку купить меня хотите?

Почему купить, смущенно забубнил Олег, мы же скоро гонку потащим, может, больше не увидимся, хотели познакомиться поближе...

Сергей Сергеевич пронзительно глянул из-под заячьих хвостиков бровей и решил на первый раз поверить.

– Ладно, пойдёмте к Ковелю, чтоб не у меня. А то у нас тут... Одна корова пернет, так этот пер будут месяц обмусоливать.

Ковель жил напротив, и, кажется, жил один. Стол без клеенки, табуретки, лампочка без абажура – уже через пять минут все казалось родным, как в родной питерской общаге.

– Он меня спрашивает: ты почему у плен сдался, почему не застрелился?! – из глаз Ковеля текли самые настоящие слезы. – Я говорю: так там застрелится было не из чего! Он кричит: ты должен был убить часового, захватить оружие и бежать! Я кричу: так я и убию, и сбегу! – акцент его нарастал вместе со слезами. – Потом! А он кричит: ты прыдатель Родины! Я кричу: я прыдатель?! Хватаю тубаретку и раз ему по голове! Вот тогда мне и все зубы выбили, – он оскалил свой никелированный радиатор, и Сергей Сергеевич тоже не удержался, оттянул нижнюю губу – сверкнула сталь нижнего ряда.

– У меня сами от цинги повывадали...

Олег понимал, что Ковель, мягко говоря, сочиняет, но от этого его было еще жалче – Олег с трудом удерживал слезы. Сергей Сергеевич недовольно сунулся, кажется, из-за того,

что Ковель подрывал доверие и к его собственному предстоящему рассказу, и в результате ничего о себе рассказывать не стал:

– Какая на хер разница, за что. Был бы человек, а статья найдется. Брали, чтоб Север подымать. И подняли! – с выражением, похожим на удивленную гордость, он обвел рукой окружающую затрапезность.

– Все он ...здит! – брюзжал бывалый Грошев, обиженный тем, что он оказался не самым бывалым. – Табуреткой он следака отоварил!

Стояла тихая солнечная ночь. Они шагали друг за дружкой, стараясь удержаться от толчков богомерзкого «Горного Дубняка» на деревянных мостках, бренчащих, как ксилофон, и Грошев бросал через ватное плечо обидные слова, а Олег умолял его не осквернять этот волшебный вечер.

– Какая разница, ...здит он или не ...здит, то, что люди о себе сочиняют, важнее того, что с ними на самом деле было! Этим они показывают, что хотят видеть мир и себя в нем красивее, чем он есть! Ты понимаешь, что мы только что прикоснулись к Истории?

– Да на хер такая история!

– История не тротуар Невского проспекта! Это трагедия! Ее красота не в комфорте, а в грандиозности!

– Да на хер такую грандиозность!

Всегда потом стыдно, когда откроешь, что ты на самом деле чувствуешь... Это только в наше время люди стыдятся высокого в себе? Народовольцы же не стыдились... Или это их и погубило?

Теперь ему было ужасно совестно, что он так тосковал без Светкиных писем, а у нее, оказывается, почта не работала, народ же не знал, так и бросали письма в ящик, пока они из щели обратно не полезли.

Когда на замызганном коптящем буксире они доволокли до Сороковой мили свою набитую бревнами капищу-«гонку» и он понял, что здесь он лишится последних инъекций надежды, коими для него служили ежедневные посещения почты, им овладела такая тоска, что когда все отскабливали от окаменелой затоптанности отведенный им барак, он сидел на подоконнике и старался оглушить себя локально выпуклыми пространствами, о которых им на фэке ничего не рассказывали, но без которых нечего было и думать о проблеме Легара. А чего стоит жизнь без проблемы Легара!

Вспоминалось это не только со стыдом, но и с благодарностью: никто из парней не сказал ему ни слова, поняли, что с человеком чего-то не то, он никогда до этого не сачковал, да и ни один сачок не делает этого так открыто, – только Бах на минутку подсел, покосился и громко зачитал: «Всякое бэровское локально выпуклое пространство боечно!» И грустно прибавил: «Да нам, татарам, один хер: что водка, что пулемет – лишь бы с ног валило».

Все-таки при Галке Олег не позволил бы себе так раскиснуть, но Галка в это время надраивала свою светлицу и будущую кухню на противоположном конце барака, где у крыльца заранее улеглись две добродушные лохматые псины, которых Юра Федоров с нежностью, неожиданной в могучем человеке, сразу стал называть медведиками. Мимо них-то Олег воровато и прошмыгнул к боечной трубище, по своим деревянным козлам уходящей за горизонт: зимой, хотя здесь, по местной поговорке, двенадцать месяцев зима, остальное лето, по этой пишущей паром магистрали Доусон снабжал Сороковую милю теплом. Легко вспрыгнув на трубу, Олег зашагал в сторону Доусона рассеянной походочкой, а когда почувствовал, что за ним не наблюдают, перешел на рысь, изредка балансируя руками.

Назад он возвращался тихой солнечной ночью, не торопясь, чтобы растянуть наслаждение. Светкины проклятия по адресу почтовых служащих он улыбаясь повторял про себя, вслух напевая: «Там по тундре, по заснеженной тундре», – хотя тундра зеленела под солнцем майским лугом, только кустики даже на взгляд казались жестковатыми, а уж редкие скеле-

тики елок окончательно открывали глаза, и внутри него начинал петь нежный-пренежный девичий голос: «Отзовись, отзовись хоть письмом, хоть звонком, где же ты, где же ты, человек с рюкзаком?» Человек с рюкзаком – это был он, а пела, конечно, Светка, в письме именовавшая его всеми его ласковыми прозвищами от сепульки до сокровища, писавшая, что ужасно скучает и что когда она тискает и целует Костика, то ей кажется, что она целует его, своего милого любимого Олежку: «Никогда не думала, что буду нянчить тебя маленького!»

«Белым снегом занесло, закружило, замело, и весна мне без тебя не весна...» В песне мела метель, вокруг расстилалась тундра, и все равно в мире царила вечная весна. Ну и что, что не дотянутся сюда провода?

Может, он и урод, но скучает он именно по ее голосу, который звучит в его душе, а настоящая жизнь с нею – завтраки, ужины, магазины, пеленки, – нет, он готов всем этим заниматься, но притворяться перед собой он не умеет: это скука. По-настоящему он начинает любить ее, только когда ее нет рядом. Ее волосы, губы, груди, бедра – все это, конечно, неплохо, но и у других есть не хуже. Она становится прекрасной и единственной, только когда превращается в воспоминание. Наверно, это плохо, но такой уж он уродился, любит только выдумку, а правда рано или поздно непременно становится скукой.

Такие вот дела.

Коек еще не завезли, и народ спал не раздеваясь на ватниках с рюкзаками под головой, но Галка его дождалась. Приготовить за уборкой она ничего не успела, но придержала для него на стынцующей плите уже отдраенный дюралевый чайник с бурым перестоявшимся, зато очень сладким чаем и, в дюралевой же миске, с полбанки консервов «Завтрак туриста», приготовленных, по преданию, из бычьих половых органов, отчего и прозывавшихся яйцами по-карибски: этим блюдом на Кубе дважды накормили советских туристов, и в первый день яйца были огромные, а во второй маленькие и сморщенные. А когда туристы возмутились, им разъяснили: «День на день не приходится – иной раз матадор быка, а другой раз бык матадора».

Олег аппетитно орудовал дюралевой ложкой и нахваливал, но Галка в какой-то неумолненный момент вдруг недобро усмехнулась:

– Что, за письмом от своей Светочки бежал?

– С чего ты взяла?

– То сидел как мокрая курица, а то вдруг цветешь, как майская роза.

– С чего ты взяла – как курица, тебя же не было?

– Бабы все знают.

Олег малость ошалел, но бабское жалъце тут же спряталось и больше не появлялось, Галка снова превратилась в славного свойского пацана. Хотя и не совсем – пацана Олегу не захотелось бы с такой бесшабашностью поразить своей храбростью, когда им выделили одичавшего мустанга, чтобы таскать бревна из Клондайка, – у женского пола самое сильное поле.

Сын прерий пощипывал первую пробившуюся травку в довольно обширном загоне, окруженном ржавой колючей проволокой, добытой, похоже, в расформированном лагере, и никого к себе не подпускал, всхрапывая, прядая ушами, кося сверкающим глазом, встряхивая гривой, роя землю передними копытами, как заправский, – где только выучился при его довольно-таки отвислом животе. Парни перешучивались, каурый он или караковый, этот Росинант или Буцефал, но войти к нему никто не спешил. Чтобы реабилитироваться за свое недостойное поведение при переезде, Олег уже обзавелся растрепанным лассо («Почему, тсамое, лассо – аркан», – недовольно поправил его Валька Мохоу, он же Ванька Мох, он же Иван Крестьянский Сын, а Бахыт тут же со смешком уточнил: «Аркан наше, тюркское слово»), но пустил его в ход, только когда Галка двинулась к Росинанту, приговаривая какие-то ласковые слова и стараясь изо всех сил предельно удлинить руку с черной хлебной горбушкой. Она еще с вечера всем внушала, что лаской и хлебушком можно покорить любое животное, даже мужчину,

однако Росинант так всхрапнул и вскинул голову, что Галка отпрыгнула, а Олег, наоборот, оказался рядом с ней.

– Заметь, у него челка, как у тебя, – пробормотал Олег, не сводя глаз с гневно переступающих копыт.

– На себя лучше посмотри, – автоматом откликнулась Галка, по-видимому не соображая, что говорит.

И тут Буцефал ринулся прямо на них, и Олег едва успел отскочить в одну сторону, а Галку отпихнуть в другую, так что она еле удержалась на ногах. А гордый конь с тяжелым топотом поскакал по кругу, временами почти задевая ржавую колючку. Олегу оставалось лишь раскрутить над головой полтораметровую петлю и с первого же броска перехлестнуть ею мускулистую шею с развевающейся черной гривой.

По угнездившемуся в его сознании канону Буцефалу теперь оставалось только бегать по кругу на корде, постепенно укрощаясь и признавая власть человека-повелителя, но осата-невший зверюга, наоборот, принялся мотать Олега вокруг себя, словно пращу, вот-вот готовясь впилить его в колючую проволоку. Самое разумное было бы выпустить веревку и уносить ноги, но во второй раз покрыть себя позором, да еще и в качестве Галкиного заступника...

– Открой ворота! – заорал он Галке, отступившей к хлипким воротцам: надо было, по крайней мере, выбраться из проклятого ржавого оцепления.

Галка лихорадочно вытолкала воротца наружу (краем глаза Олег заметил, что кто-то из парней ей бросился помогать), и взбунтовавшийся мустанг ринулся на волю, в пампасы, выбрав почему-то распадок, куда почти не заглядывало солнце.

Пребольно ударившись о слежавшийся в лед сверкающий наст нежными частями пониже пояса, Олег чуть не выпустил веревку, но тут же перевернулся набок и, не обращая внимания на удары и подбрасывания, запрокинул голову, стараясь разглядеть за летящими из-под копыт алмазными искрами, куда его несет обезумевшая стихия. Все это было настолько дико, что казалось нелепым сном, и вместе с тем уже не верилось, что этот бред когда-нибудь кончится.

Наметился уклон – впереди открылось озерцо. А сатанинскому животному и нужды нет – прет прямо в воду! «Черт с ним, искупаюсь так искупаюсь...»

Но точно на кромке воды эсеребец стал как вкопанный.

Олег прежде всего оглядел себя – ничего не разодрал, серенькие-рябенькие польские джинсики выдержали, только правая штанина да бок ватника были мокроваты. Буцефал выглядел более измученным – с губ свисала пена, словно из пивной кружки, он тяжело дышал, и ребра его то проступали сквозь лоснящуюся шкуру, то снова уходили в глубину.

Перехватывая колючую веревку натертыми руками, Олег подобрался к его голове и хозяйски потрепал по жесткому конскому волосу гривы – мустанг не выразил несогласия. И пошел вслед за неукротимым белым человеком на веревке вполне покорно. А потом еще и усердно на этом же самом лассо таскал бревна из воды, работая за десятерых: они с Олегом натаскивали за четырнадцать часов столько же бревен, сколько остальные парни своими баграми, – с учетом того, что бывалый Грошев и здесь наверняка сачковал. Он уже тогда накидывался на Тараса с рыжим Анатодем – самых главных пахарей: «Торопыги херовы!» – а потом кисло, словно сквозь изжогу, агитировал народ: «Всех денег не заработаешь, мы приехали заработать и отдохнуть, а они только заработать». Народ не возражал, поскольку сам не очень понимал, зачем он сюда приехал: голодать никто не голодал, но раз уж приехали, хотелось поставить какой-нибудь рекорд, тем более что валяться на провисающих койках ничуть не веселее, чем таскать бревна из воды: тут все же какой-то азарт...

Даже не какой-то – азарт бывает только один: ощутить себя сильным и красивым. Прыгнуть выше, заработать больше – это одно и то же: перерасти себя. А лучшие и других. Какой-то личный фронтир. Если поинтересоваться, на что мужики потратят заработан-

ные бабки, то окажется, что на чистые понты: сначала кутнуть – половина улетела, на вторую половину джинсовый костюм, какие-то пласты американских рок-групп, какие-то фирменные колонки – ничего для пользы, все для красоты (а чтобы быть красивым, нужно быть немножко американцем). Наверно, одному Мохову деньги нужны для какой-нибудь скуки – для новых ботинок, для нового костюма... (Притом что Мохов постоянно читает самые неожиданные книги – то застаешь его со Стерном, то с Ронсаром.)

А ему, Олегу, больше всего хочется швырнуть грудю золота к Светкиным ногам – тратить на что вздумается, гуляй! Когда она начинает перечислять, что Костику нужны витамины, кровать, штанишки такие, штанишки сякие, а им самим диван, книжный шкаф, настольная лампа, его охватывает скука, граничащая с тоской. Он понимает, что вся эта дребедень необходима, и готов ради нее упираться, но это такая скука!.. А вот рассыпать сиреневым веером перед ахнувшей Светкой пачку четвертных – купайся в диванах и витаминах! – это да, это дело гордости, дело чести. Дело доблести и героизма.

Но для Грошева, казалось, было делом чести именно не работать. Когда они уже обвязывали запаренные сваи и выкладывали решетку для будущего пола и каждый, кто где, занимался своим делом – кто тесал, кто пилил, кто долбил, Олег случайно обратил внимание, что Грошев уже целый час вертит коловоротом одну и ту же дырку. Он поделился с Бахом, и тот без церемоний пробалансировал по обрешетке к Грошеву и заорал:

– Мужики, показать фокус?

А когда все на него воззрились, одним пальцем выдернул коловорот из отверстия. Что означало, что его туда не ввинчивали, а вертели вхолостую.

Грошеву по этому поводу никто не сказал ни слова – хорошая у них команда подобралась, просто он потерял остатки уважения к его бывалости и долго после этого сутулится и подкручивал белесые усы концами книзу с видом несправедливо оскорбленного, чья правота когда-нибудь выяснится, но будет уже поздно. Олег уже сто раз успел раскаться, что указал Баху на Грошева: отсиживать рабочие часы без дела было настолько тоскливее, чем работать, что склонность Грошева к пустому отсиживанию представлялась ему чем-то вроде душевной болезни, и он проявлял удесятеренный интерес к байкам Грошева о его зимовках, сильно поредевшим, поскольку никто больше на них теперь не откликался.

– Так твоя версия? Сева, очнись! – откуда-то пробился Грузо. – Чем отварная рыба отличается от вареной?

– Отварная звучит красивше. А мы ж готовы за звуки жизни не щадить.

– Дай запишу.

– Лучше вырубь топором, – Олег кивает на топор в руке Кота, и дискуссия завершается.

Аршинного осетра вчера пытался выменять на водку какой-то упившийся до полного блаженства знатный оленевод, как назвал его Котяра, или эскимос, как про себя окрестил его Олег: более пышного имени он не стоил из-за перемызганного солдатского бушлата и ватных штанов, заправленных в резиновые сапоги. Где малица, где расшитые вампумом мокасины? В Доусоне на пристани бывшие хозяева тундры, покинув свои иглу и вигвамы, просили десятку за действительно расшитые бисером мягкие олени бурки: «Поурки, поурки!..» – но если им живьем показать бутылку ядовитой местной водки, красная цена которой треха, они устоять уже не могут. Олег честно уплатил трудовой червонец (заранее расправила грудь, когда он представил Светкин восторг), он и парням, видевшим в этом некое бремя белого человека, не позволял облапошивать туземцев, а уж у вчерашнего ненца-нганасанина к тому же было совершенно детское морщинистое личико с ласково прищуренными глазками. Но этот рыбарь увидел у Галки флакончик духов, радостно ухватил его и тут же вытряс себе в рот, положил осетра на пол и пошел прочь, не слыша ее призывов.

Пришлось осетра тоже положить на лед – на вечную мерзлоту, начинавшуюся под землей на штык лопаты. Дальше эту посверкивающую кристалликами инея черноту было копать невозможно, даже лом лишь оставлял в ней граненые полированные вмятины. Поэтому домишки здесь возводили «на городках» – на уложенных решеткой чурках, иначе земля под ними начинала плыть от домашнего тепла. На сваях, «запаренных» и запаянных в мерзлоту, был поставлен только барак культуры с библиотекой да теперь еще готовящийся коровник – духовной и телесной пище оказывалась одинаковая честь.

Начинающаяся с того, что в искрящуюся изморозью землю утыкается двухметровая стальная трубка, из которой бьет раскаленный пар, и земля на глазах превращается сначала в горячую грязь, а потом в гейзер, из которого жирно пробулькиваются грязевые пузыри размером с младенческую головку, и трубка погружается в этот гейзер все глубже и глубже до самого резинового шланга, уходящего в сизый растрескавшийся балок, где гудит и трясется паровой котел, под который нужно подбрасывать все новые и новые дровишки. На котле, чтобы он не взорвался, установлен манометр и клапан, который должен сам собой стравить пар, когда стрелка манометра приблизится к красной черте, но стрелка эта намертво торчит далеко за чертой, а клапан открывают вручную, когда балок начинает слишком сильно трястись. (На лекциях по охране труда учили, что такие клапаны должна регулярно проверять специальная комиссия и затем опечатывать, чтобы больше никто в них ничего подправить не мог, а здесь через клапан была перекинута проволока – на одной стороне коленвал, на другой шлакоблок. Но иногда их лучше самим приподнять, когда котел начинает подпрыгивать.)

В принципе за смену можно «запарить» – вбить в горячую грязь здоровенным двуручным чурбаком, «бабой» – две ошкуренные деревянные сваи, но чаще всего труба во что-то упирается, и это «что-то» нужно либо извлечь, либо обойти, сдвинуть сваю так, чтобы она все же не ушла за пределы фундамента. Обычно невидимые валуны подбрасывала *морена*, но еще больше мороки создавало тяжелое наследие давно исчезнувшего гаража, – зато, если не брезговать, а раздеться до пояса и запустить руку в горячую грязь до самой шеи, то иногда удастся извлечь даже и еще один коленвал.

Олег всегда был готов погружаться в грязь первым – тогда он чувствовал себя особенно сильным и красивым.

Хотя долга зубоскальства это не отменяло. И при запарке свай постоянной темой служил метангидрат, он же гидрат метана, помесь метана с водой, топливо будущего, таящееся в вечной мерзлоте, которое когда-нибудь может быть распечатано потеплением. Вот так же вот какой-нибудь чувак однажды запустит руку в оттаявшую вечную мерзлоту, а оттуда рванет метангидратное ружье, – тут и свету конец.

А может, гейзер просто однажды забулькает метаном, – тогда к нему нужно поскорее присобачить крантик и топить газом, когда кончится нефть (через тридцать лет, уверяет Иван Крестьянский Сын, – патриоты обожают запугивать концом света, чтоб Россия наконец поняла, что отступать некуда).

Или метан уже забулькал?.. Что-то стена давно вибрирует, будто палуба миноносца, с которого ухнул за борт Пит Ситников. А, это оранжевый Анатолий работает ножовкой! Стена начинает дрожать, когда что-нибудь пилит любой из парней, но подрожит, подрожит и стихнет, всем нужна передышка, один Анатолий может шаркать пилой вечно, словно пилорама, на которой они из бревен напилили брусьев, чтобы теперь на них восседать на пятиметровой высоте. Еще когда они таскали брусья к будущей стройке, Олег заметил, что Анатолий никогда не устает и ему даже никогда не больно: брус понемногу вдавливается в плечо так, что едва удерживаясь от мычания, а Анатолий шагает как ни в чем не бывало и еще через плечо обсуждает, в чем стилистическая разница между словами «пох...южил» и «попиз...юхал». В первом чувствуется напор, а во втором небрежность, отвечал Олег, изо всех сил стараясь, чтобы ответ не прозвучал стенанием, а Анатолий тем временем обращает внимание на приземистую кривола-

пую собачонку, у которой сосцы почти волочатся по земле, и философически замечает: и эту кто-то вые...л...

При виде собачьих свадеб, когда за какой-нибудь жалкой сучонкой увязывается целая орава кобелей от драного барбоса до звенящего панцирем медалей атласного дога, Олегу тоже приходили в голову подобные философические размышлизмы – сильна-де, как смерть, но под пыточным остроугольным брусом вся его воля была сосредоточена на том, чтобы не прослыть слабаком, а то Анатолий очень уж пренебрежительно махнул рукой, рассказывая о предыдущем своем напарнике – Грошеве: «Бросил гóвнарь...» У Анатолия всегда была наготове загадочная поговорка: «Все вы говнари, кроме Коли Хрусталева». В пропахшем распаренным деревом полумраке банного застенка все парни по части мускулов смотрелись неплохо, если не считать толстячка Бори Каца, но и он выглядел милым пластмассовым пупсом, а Юру Федорова и вообще можно было хоть сейчас выставлять на соревнование по бодибилдингу (красивое новопробившееся словцо), и все-таки у Анатолия мускулатура была самая рельефная, он был бы и вовсе похож на какое-то пособие по анатомии, если бы не щедрая россыпь оранжевых веснушек на его плечах и спине.

У него и этот самый казался сухим и жилистым, даже когда в бане не было горячей воды и у всех их хозяйство съезживалось – у пузатенького Бори под его гладеньким животиком так и до почти полной неразличимости (у Грузо тоже было ничего не разглядеть – он до того лохмат, что даже не выглядит голым, словно какой-нибудь орангутанг). «На раз поссать» – любит ронять Лбов, никого конкретно, впрочем, не имея в виду. Мериться х...ями у него означало ссориться из-за нелепых понтов. И когда Грошев однажды упомянул, что у него двадцать первый палец такой же длины, как у Григория Распутина, то тут же приобрел прозвище Лука с намеком на Луку Мудищева, о котором все слышали, но толком ничего не знали, ходил по рукам только потрепанный листок с затертой машинописью, из которой Олег сумел припомнить лишь одно четверостишие: «В придачу бедности отменной Лука имел еще беду – величины неимоверной восьмивершковую елду». Было немножко даже похоже на Пушкина, и Грошев попервоначально принял крещение с презрительной кислой усмешкой. Но когда Галка, еще не всех запомнившая по именам, спросила простодушно: «А где Лука?» – и Грошеву ее вопрос с большим удовольствием передали, он ответил с уже серьезной злобой: «Я ей матку выверну». Это было так неожиданно и так мерзко, что все замерли, а потом, не сговариваясь, решили не расслышать. И только толстенький Боря поднялся со своей провисшей койки и, стоя по стойке смирно, пионерски звонко отчеканил: «Грошев, ты свинья».

– Чего-о?... – развернулся к нему Грошев, но тут уже все привстали со своих расплющенных матрасов, и Грошев предпочел сплунуть и удалиться.

Но больше Лукой его никто не называл – здесь никто никого не хотел обижать всерьез.

В последние дни, словно желая доказать, что в том постыдном эпизоде его просто подставили, Грошев, к концу шабашки начавший назло врагам подкручивать вверх щегольские матросские усики, все сверлит и сверлит дырки для шипов, как их именует Мохов, или нагелей, как их, подначивая Крестьянского Сына, называет Грузо; на эти шипы наверху брусья насаживают при помощи киянки – кувалды из целого чурбака. Наносить точные удары этим чурбаком, балансируя на пятиметровой высоте, задача не для слабаков (Галка и на земле не сумела попасть, так ее развернуло), поэтому Олег особенно любит этим заниматься, но Грошев адресует свое усердие не такой заурядной личности, как Сева, а самому неутомимому пахарю – Анатолию, Барбароссе. Анатолий, за пару суток обрастающий солнечной щеткой, невероятно мужественной в контрасте с его миниатюрным носиком, действительно работает без перерывов, как станок, и не корысти ради и не в укор кому-то – просто он не понимает, зачем просто так сидеть, если можно что-то делать. Анатолий после техникума успел поводить экспедиции по тайге и удивил в свое время Олега тем, что таежные волки заботятся о крохах возможных удобств – на чем есть, на чем спать, больше, чем чечачо, считающие шиком пренебрегать удоб-

ствами. Он и стол у них в бараке не просто сколотил без щелей, но и еще и выстругал до лоска раздобытым где-то фуганком. Но гравитационное поле Обломова и его вытянуло из таежных бабок на студенческую «стипуху».

Его напарник Тарас Бондарчук, он же Джеймс Бонд, пребывает в авторитете уже за одно то, что Анатолий с самого начала шабашки работает в паре именно с ним. Олег, случайно взглянув на Тараса, не сразу вспоминает, чем он замечателен, пока мысленно не пририсует ему усы Тараса Шевченко, иначе его утиный носик и черные глазки придают ему обличье обычного смазливового парубка. Включенность в Историю – и только она – придает людям значительности, – ведь История теперь единственное подобие бессмертия. И главная значительность Тараса, историческая значительность, так сказать (а какая бывает еще?), – его отца расстреляли как бандеровца. Притом через много лет после войны, когда уже вроде бы не косили всех подряд...

И парни даже за глаза никогда это не обсуждали, как будто не сговариваясь решили: было какое-то всеобщее умопомрачение, в котором не разберешься, лучше и не ворошить. Это мудро и даже великодушно – но ведь отказ от безумства есть и отказ от Истории, не может быть, чтобы это удержалось навсегда. Когда-нибудь захочет же Тарас оправдать и возвысить своего отца... Тогда и других потянут поля их отцов, которые стреляли в Бонда-старшего, да вряд ли и он подставлял другую щеку...

Вот тогда что-то и начнется. Новая История.

Но пока все делается правильно, победители на детях не отыгрываются, – взяли же без всяких-яких Тараса на их аристократический факультет – евреев куда больше притормаживают. Грузо, правда, приняли без экзаменов через городскую олимпиаду, а Кацо пришлось перейти в шаромыгу – школу рабочей молодежи и отмантулить два года у станка ради рабочего стажа, даже грамоту он там какую-то получил. Правда, и в стенгазете его пропечатали за то, что плохо убирал станок (ему по рассеянности казалось, что хорошо): на карикатуре Боря улепетывал прочь с книжкой под мышкой, а станок утопал в стружках. «Гудит гудок, и на работу рабочая шагает рать. А у него одна забота – два года стажа бы набрать», – Лбов откликнулся эхом куда поинтереснее: «Гудит, как улей, родной завод. А мне-то хули – е...сь он в рот».

Однако и стройка гудит, как улей, пора за долото. Но сначала скинуть надетый на голое тело ватник, чтобы на потягивающем ледком ветерке ухватить последнего солнышка – уж очень хочется предстать перед Светкой хоть немножко шоколадным, каким он всегда становился за три первых солнечных дня. А вот здесь он не особенно загорел, хотя каждое утро на улице делал зарядку без рубашки. Пока прыгаешь и машешь руками, вертолеты от тебя отскакивают, и только Лбов не упустит случая пропеть: «Если хочешь быть здоров, закаляйся, голой жопой об забор ударяйся». Олега немножко огорчало, что при всех своих спортивных разрядах он выглядит слишком хрупким, он даже, как ни жалко было терять этот атрибут мужественности, сбрил бороду, подчеркивавшую подростковость его фигуры (не хрупкой, а изящной, протестовала Светка), но здесь он подразъелся и подраздался, и Барбаросса с Бондом, не сговариваясь, снова нашли, что он похож на Кассиуса Клея, превращенного гравитационным полем Нации ислама в Мухаммеда Али. Приятно слышать, теперь можно и перед Светкой покрасоваться (он даже мысленно не мог назвать ее женой – это было слишком уж грубое слово общего пользования).

Бахыт же на их вердикт только усмехнулся: хоть они и друзья, он считает, что мужчины не должны говорить друг другу комплименты, их дружба должна выражаться исключительно в делах. Олег сам когда-то так думал, пока однажды не понял, что слова куда важнее дел, если уж речь не идет о спасении жизни: нам важнее ощущать себя значительными и красивыми, чем приобрести еще одно удовольствие. Или даже миллион. Вот сам же Бах зачем-то отделяет на торцах брусьев чуть ли не до шлифовки «папы» и «мамы» – выступы и впадины, куда выступы должны входить как можно плотнее, – хотя они так и останутся внутри стены, и никто

их не увидит, если только зимой их коровник не разопрет снегом, как пугают знатоки трестовское начальство, если оно не достанет материалов для перекрытия (начальство, однако, давно привыкло смиряться с неизбежным). Олега раздражает эта бессмысленная трата времени, он говорит Бахыту, что тот занимается самоудовлетворением, но в глубине души понимает, что самоудовлетворение красотой для человека и есть самое главное, красота самое мощное силовое поле. Если, конечно, речь не идет о спасении жизни. Но ведь когда речь заходит о спасении жизни, человек и перестает быть человеком.

Вот на углу машут топорами два водника – один морской, Пит Ситников, другой пресноводный, Лбов, просто Лбов, имени он как будто и вовсе не имеет – так ему к лицу его фамилия: Лбов, кратко и внушительно. Так для этих водяных волков красота, наоборот, в том, чтобы все тесануть одним махом, что не лезет, вбить киянкой, да поскорее накрыть новым слоем халтуры: не зря же народ называет шабашку еще и халтурой, а волю народа надо выполнять, уверяют они. Способ крепления угловых брусьев друг в дружку называется «ласточкин хвост», но brave морячки-речнички зовут его «лисий х...й». И держится все у них на этих х...ях пока что не хуже прочих.

Они, пожалуй, самые brave орлы на нынешней шабашке. Пит своей наружностью очкастого шибздика и щепетильностью в вопросах учтивости довольно часто провоцирует наглецов щелкнуть его по носу, после чего наносит им сильное разочарование, демонстрируя первый разряд по боксу и второй по самбо. Мать когда-то с горя и с бедности сдала его в нахимовское училище как сына морского офицера, погибшего при исполнении особого задания, откуда Пит автоматом перешел в училище военно-морское. Он уже обрел военно-морскую гордость и научился называть моряков торгового флота торгашами, когда на его счастье и на его беду в училище пригласили выступить академика Обломова.

Обломов рассказывал о принципах подобия в механике – как по маленькой модели предсказать, что будет с настоящим кораблем – до того по-простому, что Пит уже тогда готов был пойти за Обломовым хоть в гамельнскую реку. Обломов похвалил англичанина Фруда, но все-таки выше всех поставил академиков Седова и Крылова, торжественно прибавив, что русские ученые всегда царили в нелинейной механике и мы должны беречь славу дедов. И тут же разрядил торжественность анекдотом: при проектировании первого дредноута кто-то предложил взять крейсер и все пропорционально увеличить, а Крылов возразил: «Боюсь, матросы будут в галюны проваливаться».

Курсанты грохнули, и кто-то решился спросить, каким образом Обломов потерял зрение. «Председателя колхоза хотел гранатой пугнуть», – ответил Обломов, дрогнув уголками губ. Это Пита и доконало: он твердо решил пробиваться к Обломову, а когда ему отказали в вольной, он решил пугнуть начальника училища взрывпакетом. Он надеялся, что его просто вышибут, но вместо этого загремел сначала под суд, а потом рядовым на флот, и теперь свои морские рассказы он начинает присказкой: «Когда я служил под знаменами адмирала Нельсона...» У берегов Абхазии непроглядной субтропической ночью он шел по палубе на ощупь, отыскивая ограждающий леер. А леера не оказалось. И Пит оказался за бортом.

Пит был хороший пловец, а берег вроде мерцал огнями не так уж далеко, но, как на грех, на траверзе его судна впадала в море река Кодори, и он скоро обнаружил, что теряет силы, а берег мерцает все там же. И он решил лежать на спине, лишь слегка пошевеливая руками-ногами... Вода, к счастью, была довольно теплая, хотя до человеческих тридцати шести и шести далеко недотягивала – а теплоемкость у воды, как известно, самая большая на планете. Так что когда его на следующий день подняли на борт, его колотило, он не мог выговорить ни слова, а замполит принялся его трясти за голые плечи: «Признавайся – в Турцию хотел удрать?!»

Пита разыскало его же собственное судно – капитан вычислил, куда его могло отнести течением. Как же ты столько часов продержался на воде, допытывался Олег, и Пит отвечал с

роскошной небрежностью: «Жить захочешь, продержишься». Остальные парни тоже снисходительно улыбались Севиной наивности, как будто и для них самое обычное дело восемь часов проболтаться в открытом море. А Лбов мог на автомате и обронить в сторону: говно не тонет. На что Пит так же на автомате реагировал: «Лоб, хочешь в лоб?»

Такой у них, у водников, был принят стиль общения, без обид.

Что еще Пит вынес с флота – искусство резать картошку для жарки, Галка даже иногда звала его на кухню ей помочь, и Олег непременно увязывался полюбоваться: Пит, соскальзывая лезвием с ногтя указательного пальца, начинал мелко-мелко стучать ножом, двигая указательный палец в сторону еще не иссеченной части, и проходил всю картофелину секунды за две, за три.

Но надо что-то ответить Бонду, чтобы переключиться с комплимента на что-нибудь попроще.

– Ну, что, сбачаем сегодня рок для тружеников Заполярья?

После обеда на прощанье бригада задумала отгрохать концерт в бараке культуры, а они с Тарасом с детства были ушиблены рок-н-роллом, эхо которого они мальчишками успели захватить один в Западной Сибири, другой в Галичине.

Пацанов на танцы не пускали, и они пялились на танцплощадку – разохшуюся кадущку света в облезлом городском парке – сквозь бесчисленные щели, дожидаясь, когда скучные танги и фокстроты, оживляемые только краткими драками да затянутыми обжиманиями, наконец сменятся взрывом, который ни билетерша, ни усатый милиционер Кот Вася никогда не могли предугадать заранее. Внезапно оркестрик умолкал, и где-то среди как бы веселящейся, но на деле томящейся от скуки толпы словно бы сам собой возникал кружок, в котором кто-то из парней начинал ритмически ударять в вогнутые для звучности ладоши, выкрикивая пронзительным фальцетом:

– О бимби, мамбо рок! О бимби, мамбо рок! О бимби, мамбо рок! О бимби, мамбо рок!

А когда все превращались в слух, он вопил еще более пронзительно:

– О хали, хали, аксакали!

И вся танцплощадка, и даже пацаны у щелей грозно подхватывали:

– О бимби, мамбо рок!

– О пати, пати, калапати!

– О бимби, мамбо рок!

– О пури, пури, саксапури!

– О бимби, мамбо рок!

И тут начиналось всеобщее беснование. Под пронзительные вопли диджея – правда, этого слова еще не знали даже самые продвинутые – парни прыгали, кувыркались, во все стороны света выбрасывали руки и ноги, крутили девушек вокруг себя, перебрасывали их через голову, протаскивали между ног, не обращая внимания на пронзительные милицейские свистки.

Ибо милиция и запреты – это был совок, хоть это слово еще и не родилось, а рок-н-ролл, как они называли эту пляску святого Витта – это была Америка, где было разрешено все, что запрещалось у нас. И пока униженный и опозоренный представитель власти со своим жалким колоратурным свистком пробивался к пятачку свободы, оттуда продолжали нестись пронзительные выкрики:

– К нам в кабак пришел Адам, я вам на ночь Еву дам, эта голенькая Ева мне порядком надоела...

И беснующаяся кадущка заходила в экстазе:

– Пей вино, веселись и за груди ты держись!

Ведь именно так стопроцентные американцы и проводят свою жизнь.

А еще они кладут ноги на стол, ходят все по Броду и жуют чингам, и бара-бара-барают стильных дам.

Но Олег с Бондом превратили рок-н-ролл, для краткости рок, в такой акробатический номер, что даже Лбов перестал называть их педрилами.

Лбов тоже своего рода консерватор, Катон Старший. Он бережно хранит прибаутки, вывезенные с реки Таз: «Видел Савича? Что драл тебя давеча», «Тебя тут искали – двое с носилками, один с колуном»; когда левая рука Обломова доцент Баранов зачитал, что Лбов и Боярский на преддипломную практику направляются в кабэ речного транспорта, Лбов с места отпартовал: «Все пропьем, а флот не опозорим». В общежитии он время от времени натягивает вылинявшую тельняшку, вытаскивает за ремень из-под койки похрипывающую гармошку и заводит никому не известную песню: геть, ребята, под вагоны, кондуктор сцапает вас враз, эх, едем, едем мы от пыли черные, а поезд мчит «Москва – Донбасс»...

Он горланит с таким шикарным разворотом израненной, как бы малахитовой гармошки, что парни невольно подхватывают: «Сигнал, гудок, стук колес, полным ходом идет паровоз. Мы без дома, без жилья, шатя беспризорная... Эх, судьба моя, судьба, ты, как кошка, черная»...

Гравитационное поле тельняшки провоцирует Лбова и на буйные запои, иногда чуть ли не на неделю. Так бы он и гулял по Тазу, прихватывая с левых пассажиров дань мягкой рухлядью, а с пассажирок натурой, если бы однажды в «Огоньке» его не поразило безглазое рябое лицо академика Обломова. Великий ученый, пробившийся из механизаторов, говорил, что его научный центр остро нуждается в талантах из народа, которых в народной толще непочатая сокровищница...

И притяжение этого светила перевесило земную тягу беспутности.

– Сева, опять заснул?

Откуда здесь Бахыт?

– Сейчас, сейчас, дай хоть с домом проститься.

Он и вправду дома только у себя в воображении, а у реальности он в гостях. Теперь напоследок незаметно, как бы что-то изучая, припасть к свежему распилу, чтобы внюхаться в запах свежего дерева, от которого, он точно знал, теперь до конца его дней будет мучительно и сладко замирать сердце, и пора за пилу, за долото, за киянку.

Но руки делают, а глаза высматривают, чем бы еще тут на прощание восхититься. Тем более что доделывать осталось пустяки – вывести верхний венец на общий уровень, а уж кровлю будут выводить те, кто придет следом. Если коробку и впрямь снегом не разопрет. А пока парни, кому нечего делать, – буквально, из-за истощенности фронта работ, – обсуждают более фундаментальную проблему: стены возведены на могучих плахах, вполне пригодных для четвертования, а они, высыхая, начали понемногу закручиваться, превращаясь, как выражаются плотники, в пропеллеры. Галка уже удалилась варить-тушить свинью просто и рыбу-свинью, как в Доусоне называют осетра, и плахи теперь разглядывают, спустившись с обрешетки на землю, Гагарин, Федоров, Кац и Мохов, они же Гэг (изредка Кос, Космонавт), Тедди, Кацо и Крестьянский Сын. Все стоят спиной, и что они говорят, тоже не слышно, но догадаться вполне возможно. Гэг наверняка выдает что-то залихватское типа «Поздно, майор, ну его нахх!..»: его отец на фронте сцепился с каким-то майором, оба схватились за пистолеты, но отец успел свой выхватить раньше и с возгласом «Поздно, майор, ну его нахх!..» застрелил товарища по оружию. «И что потом?..» – «Да что потом, кто там на передовой будет разбираться!»

Это желание изображать гопническую прожженность Гэга и сгубило – он ведь был уверен, что Обломов оставит его при себе, а его отправляют обратно в родной Донецк, что будет там воспринято как поражение, сколько ни хмыкай пренебрежительно, что, мол, на Обломове свет клином не сошелся. Он ведь на Донбассе был первый физик и математик, механик и мат-

рос, вступительные сдал на круглые пятаки, – на собрании «букварей» Обломов поднял его с места всем напоказ: достойно-де носит фамилию первого космонавта, – но гравитационное поле уличной шпаны, из-под обаяния которого Гагарин так и не сумел высвободиться, требовало изображать самородка-гопника, лишь случайно, чуть ли не смеху ради завернувшего в культурное общество. Язвительный Бах любит его подначивать: «Пошли в рабочку, позанимаемся», – чтобы посмотреть, как Гагарин вскинет руки: «Что мне, делать не хер, пошли лучше пивка попьем». Так вот вместе с пивом начали капать и четверочки, а под конец и трешечки.

После каждой каникул Гэг обязательно рассказывает, с кем он подрался в своем Донецке: «Техника этого дела охеренно возросла. Грузин попался здоровый, схватит – задавит, – я его гасил на дальних подступах» (*люди с темной кожей во всем мире хорошо знают кулак белого человека*). И каждая драка завершалась не менее героическим бегством от милиции: «У них в отделении сержант Янченко тоже хорошо бегаёт на средние дистанции», – Гагарин чемпион института именно на этих дистанциях. Но однажды на вечернюю пробежку за ним увязался Лбов, и Гэг так и не сумел от него оторваться. Это был цирк – Гэг в облегающем тренировочном костюме, узкобедный, плечистый, разве что малость плосковатый, почти летит с невесомостью оленя из мультика, и рядом перебирает коротенькими ножками в своем развевающемся пиджачке мощачок Лбов, едва достающий Гэгу до подмышки. Аскетическое лицо Гэга с немножко вытянутым за кончик носом, как у капитана Ахава с кентовских иллюстраций к «Моби Дик», лишь слегка покраснелось и подернулось испариной, а лбовская надутая физиономия попивающего маленького начальника уже переходила из багрового в фиолетовый, а льющимся из-под волос потом его пиджачок был закапан, будто дождем, – и все-таки Гэгу так и не удалось от него оторваться: если бы пробежка затянулась, Лбов, вполне возможно, реально отдал бы концы, но не сдался. Поэтому, когда однажды чем-то оскорбленный пьяный Лбов начал ломиться в его запертую комнату: «Эй ты, космонавт, выходи! Что, забздел?!» – Гагарин предпочел отсидеться за дверью: он понимал, что со Лбовым пришлось бы драться до тех пор, пока кто-то из них кого-то бы не убил.

И все-таки сейчас Гагарин наряжен в штопаную-перештопаную линиялую гимнастерку полузабытого фасона – по его словам, отцовскую фронтовую: все-таки гравитационное поле Истории перетянуло гравитацию гопничества. Правда, при его черкесской талии, стянутой офицерским кожаным ремнем, и широких плечах в этой гимнастерке его можно было бы хоть сейчас снимать в качестве романтического героя из военного фильма, если бы не латанные-перелатанные, линиялые-перелинялые джинсы, беспородные, но все равно фирменные, то есть американские.

– И за эту рванину, тсамое, ты две стипендии отдал?.. – укоряет его Мохов. – В Америке, тсамое, такие в тюрьмах выдают, а ты за них последние деньги готов выложить!

– Ладно, изношу, в спецовку переоденусь. И в лапти.

Им действительно выдали синюю хабэшную форму, напоминающую о китайских товарищах, но носили ее только Мохов и Тед. Тед работал механиком в обломовском «Интеграле» и спецовку носил не корысти ради, а из какого-то неясного шика – в ней он выглядел еще более могучим (*двести двадцать фунтов стальных мышц и сухожилий без единой унции жира*). Мохов же и впрямь самый бедный у них в бригаде, но синюю пару и кирзачи он каждое утро натягивает больше из принципа: отцы-деды, мол, носили, а мы чем лучше, и солдатские эти сапоги идут его сутулой мосластости больше, чем бесплатные бутсы с шарообразными носами, которые не прорубить топором, а из-за их тяжести ноги аж заносит на поворотах. Мохов и о пропеллерных плахах наверняка провозглашает что-нибудь насчет отцов-дедов типа, сколько народ ни плющи, а рано или поздно он вернет себе свою природную форму. У него глубоко сидящие глаза, темно-синие, как его блуза, так называемое простое русское лицо, он кажется тугодумом – не блистает, как Боярский, не ловит все на лету, но вцепится в проблему, как бульдог, и жуёт, и жуёт, и в конце концов что-то разгрызает.

Боря, скорее всего, о плахах уже помалкивает, потому что, дай он себе волю, то провозгласил бы, что на пилораме работают недостаточно интеллигентные люди – в этом вся и беда, истребили интеллигенцию. Слово интеллигент для Бори так же священо, как для Мохова слово народ, только он произносит его в отличие от Мохова не с трагическим напором, а с горькой просветленностью.

Вернее, произносил, а потом перестал, поскольку Федоров постоянно наблюдает за ним, словно за симпатичной зверушкой, чтобы что-нибудь перестебать. Вполне, можно сказать, любовно, но Борю и это обижает. Однажды он не выдержал и припечатал Теда кратко и неприемлемо: «Дрянь», – но Тед так смешно научился его передразнивать, что все уже ждали этого номера. Тед долго и внимательно вглядывается в Борю и с неким рокотком задумчиво обращается к нему: «Борья...» – и вдруг сам себя прерывает, будто говорящий попугай: «Дрянь!» А потом снова впадает в задумчивость, как бы припоминая что-то: «Медведь спрашивает зайца: не найдется бумажки подтереться? Заяц протягивает ему половинку трамвайного билетика, а медведь подтерся зайцем и выкинул в окно... Борья, у тебя бумажки не найдется?»

У самого же Федорова неожиданно нашлись несколько мятых и блеклых листочков камасутры – все поглядели, похмыкали, – наконец и Боря на своей койке оторвался от гальванопластики и заинтересовался, что это за самиздат пипл друг другу передает. Тед согласился дать и ему почитать при условии, что он будет лежать на спине и не станет прятаться под одеяло. Боря согласился, но уже через минуту перевернулся на живот. «Не смущайся, Борья, когда мартышка трахалась со слоном, ей было еще хуже: сначала хохотала, а потом лопнула».

Смеются, однако, над Борей едва ли не с умилением – его не просто любят, его уважают. Все помнят, а кое-кто и видел, как Боря получил с женского этажа записку от персидской красавицы Фатки, писавшей, что весь ее мусульманский клан ее отвергнет, если она выйдет замуж за еврея, а она на такое никак не может пойти, – никто не хотел обмусоливать, а может, кроме Олега никто и не заметил, как Боря сначала долго что-то рисовал пальчиком-сосисочкой в пивной лужице на фанерном столе и только потом вдруг вскочил на стол и оттуда ринулся в окно – с третьего этажа вместе с рамой. Видимо, на раме-то он и спланировал так удачно, что пролежал в больнице всего месяца два, а сейчас даже почти и не хромает, если не приглядываться.

Зато теперь их с беременной Фатимой отправляют в Кременчуг хромировать и никелировать на чудовищных КраЗах – людоедах, как их ласково именуют водители, – все те же коленвалы или что там у них еще в лакировке нуждается.

Способен ли Сашук (цитаты из «Золотого тельца» уже забываются...), то бишь Тед понимать подобные чувства? Тед, которому, кажется, и вовсе незнакомы такие выражения, как «у них роман», «он ее любовник» – Тед во всем старается дойти до самой сути: он ее е...т. Когда Тед видит тетку, нагнувшуюся к кошелке, он раздумчиво обращается к окружающим: «А представьте, что она без одежды? Подошел бы сзади и зачавкал». Но этот же самый Тед уже чуть ли не месяц перечитывает отыскавшуюся в библиотечном бараке «Душеньку» Богдановича, переполненную амурами, зефирами, венерами, сапфирами... И время от времени, не выдерживая, зачитывает оттуда строфу-другую с такой разнеженностью, что становится очевидно, до чего он похож на молодого Баратынского:

Амур и Душенька друг другу равны стали,
И боги все тогда их вечно сочетали.
От них родилась дочь, прекрасна так, как мать;
Но как ее назвать,
В русском языке писатели не знают.
Иные дочь сию Утехой называют,
Другие – Радостью, и Жизнью, наконец...

Время от времени, поймав Олега за полу, Тед просит его в стотысячный раз выпеть «О Коломбина, верный нежный Арлекин здесь ждет один» – и с каждым разом все сильнее изумляется, каким это чудом Олегу удалось запомнить столь вычурный музыкальный узор.

Тед и концерт начал с изысканной эротики: «Для вас, души моей царицы...» – поигрывая глазами, словно убалтывал млеющую продавщицу через прилавок – млели они, похоже, не столько от его атлетизма, сколько от хорошенького до нелепости личика на могучей шее и губок бантиком.

А потом все пошло вразнос.

Стычка гравитационных полей началась еще за пиршественным столом, с которого ракетами на старте устремлялись в небеса длинношее бутылки золотого токайского, оскорбленные соседством дюралевых мисок с ломтями свинины и осетрины. На токайском настоял Олег – прежде всего ради нездешнего звучания: *токайское...* – но и жалко было оставлять эту золотую причуду советского планирования сиротски светиться в убогой лавчонке среди батарей осточертевшего «Горного Дубняка», блекло желтеющего десятой производной краснодарского чая. Парни выколачивали пробки кулаком в доньшко (за лето кулак стал таким мясистым, что было почти не больно), а потом клацались плещущимся золотом в зеленых эмалированных кружках с черными лишаями облупленностей, и нездешний напиток уносил их ввысь, в песню.

«Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты!!!» – Бахыт с Гагариным, чтобы прикрыть азарт насмешкой, выкрикивали песню фальцетом, а Бонд с Барбароссой таким же дурашливым фальцетом старались их перекричать: «Ты ж мени пидманула, ты ж мени пидвела!..»

«Снег, снег, снег, снег, снег над тайгой кружится...» – Галка с Борей старались замкнуться в собственной печальной красоте.

«На плато Расвумчорр не приходит весна, на плато Расвумчорр все снега да снега», – мрачно рычали Грошев с Питом Ситниковым.

«По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах», – Тед, поигрывая баском, слегка насмешничал над своей серьезностью, зато Иван Крестьянский Сын выкладывался по полной, со слезой, чего никак не мог вытерпеть Лбов, после каждой строки вставлявший либо «в стоячку», либо «в раскорячку». В итоге получалось: «Бродяга Байкал переехал в стоячку, навстречу родимая мать в раскорячку», – но Мохов на своей высоте умудрялся не терять пафоса и, только закончив трагически: «Давно кандалами звенит (в раскорячку)», – примиренно вздохнул: «Испортил, тсамое, песню, дурак».

А Лбов поспешил вставить еще что-то земное, он не выносит высокопарности: «На мате-рике бы ни за что не стал такой компот закусывать, а здесь со смехуечками...» – дальше Олег не расслышал, ибо припев они с Боярским, выбивающим ритм на баховском банджо, грянули за троих: «Эх, не хочу я воевать, я не умею воевать, войны не надо мне опять», – чтобы с удивлением обнаружить, что они помнят и последний куплет: «Я зарюю свой линкор между высоких гор!»

– Может, еще раз сбцаем на языке оригинала, ин инглиш? Я тебе могу надиктовать слова! – прокричал ему в ухо Боярский, и Олег отчаянно замотал головой:

– Не надо, я не хочу ничего понимать – английский должен оставаться священным языком, как санскрит, как иврит... О, привет!

Грошев ввел под руку красивую библиотекаршу в ее неизменной болонье.

– В Израиле иврит теперь нормальный язык, для будней! – всем все приходилось выкрикивать.

– Ну и зря, профанировали сказку!.. А для меня американский рок – это сказка. Штатники умеют лучше всех забивать на все! Битники, хиппи!.. Нам вбивают в голову трудовую Америку, каторжную, вроде нас самих, а я люблю бесшабашную Америку!

– Я же тоже пробовал хипповать в советской версии – срамота! Оттяг под надзором гебухи!..

– Конечно, профанировать не надо! Это только у них можно – не прозябать, как старшие велят, а упиваться жизнью, беситься с жиру, как у нас это называют, бесноваться, только бы не тлеть! Их беснование пример всему миру, история, которая творится сегодня! А у нас вся история в прошлом! А в настоящем все под руководством партии и правительства! А с ними неохота идти в ногу даже в рай, из-за них же мы и в стройотряды не ездим, только на шабашки! Чтоб без этих ихних комиссаров, без миллионов юношей и девушек!

– Историю, тсамое, творит не правительство, а народ! – Мохов и на другом конце стола что-то все-таки расслышал. – И Аляску, тсамое, русские первые обследовали, штатники, тсамое, только к рукам умеют прибирать!

Своим гудом он умеет продать любой бедлам.

– Это ты про Массачусетский технологический институт? – попытался перекричать Боярский, но Мохова было не сбить:

– Они, тсамое, за бабки лучшие мозги переманивают, а нам, тсамое, от сохи приходится начинать! А они, тсамое, потом все равно перекупят! Новоархангельск, тсамое, переименовали в Ситку, лучше, тсамое, пусть индейское название, чем русское – у них, тсамое, славянин означает раб! А вы – Доусон, Доусон... Коломбы росские, презрев угрюмый рок... И наша досягнет в Америку держава! Не слышали, что ли? И здешний Север, тсамое, тоже наш народ обживал!

Иван Крестьянский Сын так патетичен, что возразить ему хватает патетичности только у Олега.

– Может, и народ, но по приказу начальства! А оно у нас какой-то Антимидас – до чего дотронется, хоть до золота, все превращается в скуку! Кажется, во всей истории одних народных довольцев они не сумели опустить!

Нет, не умеет он как следует орать...

– У нас тоже два брата с Таза приехали в Москву, отоварились, – Лбов не желает, чтобы перекрикивались о чем-то патетическом, стыдится высокого в себе, – а одного чего-то перемкнуло: пойду да пойду в мавзолей. Отстоял очередюгу, посмотрел на Сталина и говорит: ну и будку ты отъел, с похмелья не обдрищешь. Ну, его под белы руки и в кутузку. Брат пришел на свиданку: говорил же я тебе, ну на хер он тебе обосрался, этот Сталин! Повязали и его.

Все смеются несколько смущенно, Олег тоже осторожно ищет взглядом Галку и библиотекаршу; библиотекарша смеется как ни в чем не бывало, а Галки уже нет, не желает конкуренции, хотя соперница еще не успела сесть за стол.

– Правильно, – долбит Мохов, свирепея светя синими фонарями из глубоких глазниц. – Народ, тсамое, всегда знал Сталину цену, моя мать, тсамое, его только так и звала: черт рябой! А вот когда интеллигенция, тсамое, начала вместе со Сталиным обвинять народ...

– Понятно, интеллигенция во всем виновата! – распрямился розовенький Боря. – Говори уже прямо: евреи!

– Не заносись, Кацо, не все евреи, тсамое, интеллигенты, и не все интеллигенты евреи! А безыдейная публика по-прежнему над кем-то потешалась:

– Четвертый день пурга качается над Диксоном!

– Ты сказала, шо во вторак поцелуешь разив сорок!

И только Пит упорно и мужественно мычал:

– Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход...

– Мужики, мужики, – забренчал Олег пустой кружкой по пустой бутылке, невольно откидываясь, чтобы осколки не брызнули в глаза, – у народа и у интеллигенции есть общий враг –

начальство! Пока оно нас держит мордой в землю, мы должны быть заодно! Предлагаю в знак примирения подвергнуть казни через расстреляние лизоблюдскую книгу «Три мушкетера»! У нас герои не служат царям! Кто против? Все за! А те, кто против, будут подвергнуты той же мере! Тед, будь другом, сходи за ружьем, а я доставлю приговоренного!

Олег незаметно подмигнул библиотекарше, и она подавила счастливую улыбку – они уже давно переглядывались, он зачем-то изображал из себя бесшабашного весельчака, рассказывал, как его выгнали из духовной академии, напевал, подражая Шаляпину, «Сугубую ектению»... Понятно, что всем нравится бесшабашность, все бы хотели не прозябать, а творить что вздумается, но что за интерес – добиваться женской симпатии не к тебе, а к маске, которую ты напялил?

«Три мушкетера» валялись у Галки под кроватью, а сама Галка лежала на кровати, поблескивая из-под челки обиженными мохнатыми глазками.

– Ты почему ушла?

– Противно смотреть, как вы за ней увиваетесь.

Олег хотел возразить, но ничего краткого придумать не сумел, а Галка и вовсе повергла его в немоту:

– Ты знаешь, что ее муж сидит за изнасилование? Захотел чего-то получше, не то что вы.

И хорошая ведь девка!.. *Бабы все знают...*

«Три мушкетера» не желали стоять над воронкой, из которой, старался всем внушить Олег, когда-то вырвался гейзер метангидрата, пришлось привалить их к двухведерной фляге, которую Тед для личных нужд поставил в барачном тамбуре, чтобы ночью не бегать за барак, но когда парни превратили ее в сосуд общего пользования, зашвырнул ее в воронку, однако не добросил. Так она там и провалялась все полярное лето, и теперь из нее чудодейственным образом стекала прозрачная ключевая струйка. Чудо, не сякнет вода...

И какое низкое холодное солнце, какие длинноногие тени!.. Полярная зима дышит в затылок.

– По прислужникам хозяев мира – огонь!

Звон в ушах, огонь из ствола – фляга скатилась в воронку, из мушкетеров полетели белые ключья.

И тут же прогудел другой приговор:

– Так вы и сами прислужники хозяев. Штатники ведь и есть хозяева мира, мы последние, кто им противостоит.

Ну, Мох, ничем его не сшибешь!

Олег прошагал к воронке по осенней ржавчине и, опустив ружье, произвел контрольный выстрел из второго ствола, а мушкетерские останки сбросил к фляге ногой таким циничным движением, что самому стало совестно. Однако инерция удали и влюбленный взгляд библиотечарши требовали продолжения.

– Подождите, мужики, и десять гранат не пустяк!

Он сгреб со стола пустые бутылки из-под токайского, и они начали метать их в воронку, словно гранаты с длинными рукоятками. Его гранаты летели на удивление точно в цель, но в последний миг ныряли вниз, так и не долетев до мушкетерских ключьев. А потом все стояли в обнимку вокруг воронки и пели под героическое дрыньканье банджо: поднявший меч на наш союз достоин будет худшей кары! Под левой рукой Олег ощущал надежное тощее плечо Бахыта (гитарой прочно завладел Грузо), а под правой оказалась льнувшая к нему библиотечарша, и ему пришлось тоже обнять ее. И после Светки это было до того невозможно, что его рука *буквально* онемела...

Он был пьян настолько, что чувствовал себя вправе не притворяться.

– Парни, парни, – заорал он и, может быть, даже рванул бы рубаху на груди, если бы руки не были заняты объятиями, – секунду внимания!! Елки-палки, секунду-то можете уделить, это

всех нас касается!!! Осознайте, мы сейчас совершаем тризну по нашей молодости! В Питере уже начнется взрослая жизнь – с занудством, с обязанностями, с начальством!... Давайте поклянемся над прахом трех мушкетеров, что никакие жены, пушки заряжены, никакие карьеры не заставят нас забыть нашу дружбу!!! Но невзначай проселочной дорогой мы встретимся и братски обнимемся!!!

И, чтобы не успеть устыдиться, затанул, стараясь казаться еще более пьяным, чем он был:

– Инженером старым с толстым чемоданом в Ленинград вернешься ты назад...

Он опасался, что парни начнут ухмыляться, но все подхватили на полном серьезе:

– Там возьмешь мотор до «Метрополя», будешь пить коньяк и шпроты жрать, ну, а поздно к ночи будешь пьяным очень и начнешь студентов угощать...

До конца предаться студенческому братству мешала только прижимавшаяся к нему библиотекарша, не способная, очевидно, проникнуться высотой минуты. Но ведь от нее и требовать этого было нельзя, она к их братству не принадлежала. А вот Мохов принадлежал, и, невзначай встретившись взглядами, они растроганно кивнули друг другу. Можно сказать, братски обнялись.

Но когда они с низенькой сцены перед серьезно рассевшимся зальчиком теток в ватниках (мужья, очевидно, сидели за изнасилование) начали свою перекличку, передразнивая школьный монтаж – Лена звонко выкрикивает: «Наш паровоз, вперед лети!», а Вася перехватывает: «В коммуне остановка!» – Иван Крестьянский Сын, набычась, начал гудеть ему в ответ почти что с ненавистью.

– Если б мне вздумалось, о Западный Мир, назвать твое самое захватывающее зрелище, – завел Олег, борясь с полутора литрами токайского, уводившего его куда-то вдаль и выше, – я не упомянул бы ни тебя, Ниагара, ни вас, бесконечные прерии, ни цепи твоих глубочайших каньонов, о Колорадо, ни пояс великих озер Гурона, ни течение Миссисипи, – я бы с благоговейной дрожью в голосе назвал День Выборов! На пространствах Севера и Юга, на двух побережьях и в самом сердце страны ливень избирательных бюллетеней, падающих, как бессчетные снежные хлопья, спор без кровопролития, но куда более грандиозный, чем все войны Рима в древности и все войны Наполеона в наши дни!

– С изумлением увидели демократию, – мрачным гулом, будто из цистерны, отозвался Мохов, недвижимый, как синяя ссутулившаяся свая, – в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное и бескорыстное, тсамое, подавлено эгоизмом и страстью к комфорту – такова картина Американских Штатов. Поклонение доллару – вот единственное, тсамое, что Америка подарила миру!

– Душа народа его литература, – возгласил Олег, стараясь забыть, где он находится (к счастью, токайское не позволяло ему сфокусироваться на лицах слушательниц), – и где же поклонение доллару у Марка Твена, у О. Генри, у Хемингуэя, у Фолкнера, Сэлинджера? И герои Джека Лондона искатели приключений, а не долларов. Американская литература самая романтическая в мире! Она всего лишь не желает оплакивать разных Антонов-горемык – потому что человек и не должен быть горемыкой!

Господи, что я несу, что про нас думают эти тетки! Их неразличимые лица лишь вспыхивали серьезностью то здесь, то там.

– О, у них, тсамое, романтичны и чикагские гангстеры! – Олегу показалось, что еще слово, и Мохов полезет в драку.

– Чикаго, – как можно более добродушно провозгласил Олег, всячески стараясь показать, что он ничего ни против кого не имеет, – ну, что поделаешь, если этот город свинойбой и мясник всего мира, машиностроитель, широкоплечий город-гигант, да, он развратен, преступен, жесток, но – укажите-ка город на свете, у которого шире развернуты плечи, где задорнее радость, радость жить, быть грубым, сильным, умелым!

Под конец Олег все-таки забылся, и голос его отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом, как ему это припомнилось на обшитой досками толстенной трубе, ведущей из Сороковой мили в Доусон. Под добела раскаленной луной среди ночного холода, уже отдающего морозцем, он ощущал себя трезвее трезвого, но почему-то никак не мог ступить по трубе, по которой не раз бегал вприпрыжку, более двух шагов – его словно бы внезапный порыв ветра, хотя обжигающий ветер дул довольно ровно, сбрасывал на землю, каждый раз угощая по уже набитому синяку топором плашмя сквозь ватник и брезентовую спину рюкзака. Оттого что ему приходилось в своих плотницких бутсах с чугунными носами снова и снова запрыгивать животом на трубу, затем, балансируя обеими руками, с трудом выпрямляться и тут же снова лететь вниз, стараясь в воздухе просунуть ладонь между поясницей и топором, он уже перестал понимать, что на их прощальном вечере на самом деле было и что ему привиделось.

Что было совершенно точно – он прилагал все силы, чтобы стоять на сцене прямо, но его водило из стороны в сторону, водило кругами и восьмерками, а Крестьянский Сын все нагнетал и нагнетал мерзость и жуть:

– В Америке, пропахшей мраком, камелией и аммиаком, пыхтя, как будто тягачи, за мною ходят стукачи...

И тут Олег увидел, как по проходу к сцене семенит крошечный мальчишка с соской во рту. Не доходя метров трех, он с изумлением, граничащим с ужасом, впился в Мохова яркими глазенками, почти такими же круглыми, как его соска, продолжающая двигаться, хотя сам он застыл в каменной неподвижности.

– Мир паху твоему, ночной нью-йоркский парк, дремучий, как инстинкт, убийствами пропах, – взывал к зальчику Мохов, и оцепенелый мальчонка впивался в него ошеломленным взглядом, не забывая при этом об активных сосательных движениях, и Олег понял, что еще минута, и он лопнет от задавленного смеха.

Упершись подбородком в грудь, как бы униженный и опозоренный моховским напором, Олег устремился за кулисы, то бишь в коридор, и там сполз по стене под портретом Ленина в корчах беззвучного хохота и потом долго себя под Лениным чистил от известки. Надо же так нарезать этим компотом! Когда он наконец решился выглянуть через боковую дверь на сцену, там шел суд над стариком-индейцем с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Согбенный Бахыт спиной к нему в дохе из сколотых булавами оленьих шкур выкладывал судьбе, с чего это ему и другим таким же ветхим старцам вздумалось убивать белых людей без всякой видимой причины, а Иван Крестьянский Сын в судейской мантии из надетого задом наперед плаща строго поблескивал на него очками Пита Ситникова из-за библиотечного стола. Могучий Тед, обтянутый линиялой гимнастеркой Гагарина, грозно высился за спиной Бахыта, изображая полисмена.

Бахыт старчески дребезжал примерно по Джеку Лондону, как достойно они жили до появления этого неугомонного племени белых людей, которые, и насытившись, не желают спокойно отдыхать у костра, но обречены все время что-то добывать и чем-то торговать. Торговать, торговать, торговать – белые люди принесли множество ненужных вещей и испортили молодежь, мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами. Парни разучились охотиться и ловить рыбу, а вместо этого начали подражать белым людям, но удавалось им это не лучше, чем щенку удастся подражать матерому волку. Девушки начали искать счастья не в вигвамах охотников, а в поселках белых людей, где их превращали в жалких прислужниц и заражали какими-то невиданными болезнями...

Голос Бахыта стремительно молодел, старческую согбенность сменяла гордая осанка, он уже не оправдывался, но обвинял, однако до Олега не сразу дошло, что Бахыт говорит уже не об индейцах и американцах, но о казахах и русских:

– Вы распахали наши лучшие пастбища, наши легкие круглые юрты вы оттеснили своими тяжелыми квадратными избами. Все, что дарило нам гордость, вы сделали смешным – наши

стада, нашу пищу, наш язык, наши песни, нашу красоту... И мы, старики, готовые перебраться в другой мир, решили забрать с собой как можно больше вас, убийц нашего народа! Я знаю, ты прикажешь меня завтра казнить – так я тебя казню сегодня!

Бахыт выхватил из-под оленьей шкуры топор и с такой силой взмахнул им, намереваясь метнуть в судью, что в зальчике взвизгнули сразу три тетки.

Олег тоже обмер, но Тед сзади перехватил взнесенную руку и рванул ее вбок и книзу с такой силой, что гагаринская гимнастерка лопнула у него на спине, а Бахыт припал на колено рядом с грохнувшим об пол топором.

А Тед, высаясь над коленопреклоненным, растирающим запястье Бахытом, развернулся к обомлевшим теткам (пацанчика мамаша, видимо, уже увела) и – и когда он только успел прорепетировать свой монолог? И откуда взял этот рокошующий бас, эту царственную надменность?..

– Миссия белого человека – нести цивилизацию в мир, и это – нелегкое бремя! Он должен обладать колоссальным самомнением, уверенностью, что все, что бы он ни сделал, правильно, он должен никогда не сомневаться в том, что один белый может справиться с тысячей цветных, не следует ему также вникать в их мысли и обычаи, ибо не этим руководствовалась белая раса, совершая свое триумфальное шествие вокруг земного шара. Несите бремя белых!

Олег понял, что нужно срочно разрядить эту гравитационную грозу чем-то земным, и рванулся на сцену:

– Маэстро, урежьте рок-н-ролл!

Он взывал к Боярскому, оцепенело каменевшему в своей бородине у стены с бахытовским банджо под мышкой, и Грузо сразу все понял. В три шага он взлетел на сцену и урезал что-то зажигательное из Элвиса Пресли на священном американском.

А Олег с криком «Все танцуют!!! Кавалеры приглашают дам!!!», наоборот, ринулся в зал и, ухватив первую попавшуюся тетку, принялся отламывать с нею тот самый рок-н-ролл, какой они намеревались сбавать с Бондом. Разглядеть свою партнершу ему так и не удалось, но она с удивительной – всемирной! – отзывчивостью угадывала, что от нее требуется – косо-симметрично вместе с ним вскидывала ноги в резиновых сапожках (Олег опасался, что чугунные бутсы унесут его к небесам, но тяга земная надежно удерживала его на земле), послушно закручивалась и раскручивалась, а когда он наконец решился перекинуть ее поперек спины, словно волк зарезанную овцу, она тоже взлетела на редкость легко и послушно.

– Ты думаешь, это американская?! Это НЕГРИТЯНСКАЯ музыка!! – докрикивался до него Иван Крестьянский Сын, уже освободившийся от очков и мантии, но Олег лишь отмахивался:

– Негры тоже американцы! Да забей ты, наконец, пляши – видишь же, все пляшут!

Это и было последнее, что стояло у него в глазах, когда он бесконечно запрыгивал на боковую трубу и тут же слетал обратно: Фидель Кастро голосом Элвиса Пресли вопит со сцены что-то умопомрачительное, а среди разлетевшихся к стенам ободранных венских стульев самозабвенно скачут, дергаются, крутятся ватники, ватники, ватники...

Нет, когда уже с рюкзаком за плечами он на дорожку обнимался со всеми подряд, он заметил, что среди парней нет Галки... Впрочем, с Галкой завтра они все равно увидятся в аэропорту, где для них по блату отложены билеты (нужно только как можно раньше внести деньги в кассу), а вот где библиотекарьша?

– Я ее домой проводил и вы...л, – Грошев подкрутил свой матросский усик, взял, стало быть, реванш. – Она спрашивает: ты что делаешь? А я говорю: бу.

– Когда я служил под знаменами адмирала Нельсона, – заплетающимся языком припутался с трудом узнаваемый без очков Пит Ситников, – у нас один чувак слинял в самоволку к бабе, заторопился, а у нее как-то волос поперек попался – так он так распластал залупу, что зашивали потом суровыми нитками.

– Жалко, Грош, что ты весь хер себе пополам не распластал, – с ненавистью уставился на Грошева Олег. – Мог бы тогда герб себе взять – двуглавый хер.

– А что я такого сделал, что вы все все время против меня?..

Только что торжествующе-блудливые конские глаза Грошева наполнились такой детской обидой, что Олег притиснул его к груди крепче всех. Грошев был покрупнее и помясистее, обнимать его приходилось немного снизу вверх, но от этого его было еще жалче.

– Ладно, извини, старик, – забормотал он в колючую щеку Грошева, – тебе никто не объяснил, что нельзя утилизировать красоту. Понимаешь, старик, было красиво, а стало пошло...

Он откинулся от Грошева и страдальчески взгляделся в его лицо – и понял, что Грошев смотрит на него, как на сумасшедшего.

Ладно, все равно это такое счастье, когда кого-то простишь!

Нравственный закон внутри нас. А звездное-то небо над нами уже не сияет, луна, как бледное пятно, не очень-то и различима... Зато в зените замерцала исполинская зеленая лента, которую очень густо штрихуют снежинки, сами слегка зеленеющие при этом, как будто пролетают мимо зеленого сигнала светофора...

А-бал-деть!..

Чтобы разглядеть эту сказочную картину получше, Олег запрокинул голову к самым лопаткам и – и его так сильно качнуло, что пришлось сделать несколько шагов, чтобы восстановить равновесие. Уже с некоторой досадой он снова запрокинул голову – и снова чуть не упал. Нет, врете, не возьмете! Он старательно утверждался на ногах, начинал отводить голову назад медленно и осторожно – и все равно в какой-то миг ему приходилось возвращать ее в нормальное положение и делать несколько шагов для восстановления равновесия. Он сам уже не мог сказать, как долго он этим занимался, прежде чем решил сдаться: все равно он ничего не успевал разобрать, даже и зеленая лента как будто перестала извиваться и дышать, небо уже начало казаться непроглядным шевелящимся молоком, а лицо сделалось совсем мокрым от тающего снега. Видимо, откидывая голову, он перекрывал поступление крови в мозг, да еще и токайское... В общем, пора было двигаться дальше.

Олег вытер лицо сначала одним, а потом другим рукавом уже довольно мокроватого ватника и поискал глазами трубу, и – и не увидел ничего, кроме шевелящегося молока. Впрочем, он и так помнил, где эта труба, и двинулся к ней, выставляя руки впереди, чтобы не налететь на нее физиономией.

Но леера все не было и не было. И он зашел, похоже, гораздо дальше, чем следовало, прежде чем осознал, что его и не будет.

И тут же почувствовал, до чего он замерз, особенно бедра в облегающих летних джинсах, с легкостью пронизываемых совершенно зимним ветром. И волосы были мокрыми от растаявшего снега, а новый снег как будто уже и не таял, потихоньку нарастая сугробиком. А отросшие за лето выющиеся прядки над ушами – блин, они реально *заледевели*. И тут он сам заледевел от ужаса: ведь если он сейчас пойдет в неправильном направлении, он может запилить по тундре черт-те куда, так что даже после рассвета не сможет найти дорогу обратно. Значит, надо как-то здесь перетоптаться до утра, а утром парни пойдут в Доусон за последними бабками, и он их увидит, ведь труба пока что точно где-то рядом. Который сейчас час?.. Хрен его знает, но шесть-восемь часов он вполне в силах пробежать на месте, промахать руками, только для начала нужно чем-то обмотать голову, а то прядки уже, кажется, позванивают льдинками.

Белым снегом занесло, закружило, замело...

Не паниковать, не паниковать! Но ужас заполнил его грудь до отказа. Он протянул руку за спину – на рюкзаке вырос самый настоящий сугроб. Он стянул и отряхнул рюкзак, зубами на ощупь ослабил, а потом развязал узел, добыл из рюкзака запасную рубашку и обвязал ею голову, как фриц под Сталинградом. А сложенные вчетверо запасные трусы засунул себе в трусы, чтобы хоть немного защитить до предела съезжившееся хозяйство. Лет десять назад они

с одним пацаном зашли на лыжах далеко в степь, и тоже начался буран, пришлось возвращаться навстречу ветру, и лыжные штаны с начесом ужасно продувало, так они догадались, отвернувшись от ветра, пописать друг другу на штаны, и ледяную корку стало продувать намного меньше. Но одна лишь мысль защититься подобным образом пробудила его гордость – не хватало еще, чтобы его завтра нашли в обоссанных портках!

Ему вдруг открылось, какая прекрасная смерть его ожидала бы, если бы он сейчас сдался. Не зря же ему вспомнился зеленый светящийся снег перед глазом светофора, – как будто где-то в небесах дали переливающийся зеленый свет к его прибытию... Финны называют полярное сияние лисьими огнями – будто где-то за северным горизонтом бежит по снегам исполинская лиса, взметая светящуюся метель до небес своим волшебным хвостом, но солнечный ветер – это еще красивее. И все-таки красивее всех придумали викинги – это отблески золотых щитов дев-воительниц, провожающих души героев в Валгаллу.

Он присел на корточки рюкзаком к ветру и обхватил колени руками – стало намного теплее, особенно если не бороться с дрожью, а наоборот, трястись изо всех сил: когда сам трясешься, управляешь собой, и ужас ослабевает. И смотреть лучше вниз. Шевелящееся молоко всюду – хоть вверху, хоть внизу, но когда снежинки попадают в глаза, их кристаллики, видимо, немножко ранят роговицу, становится больновато. А есть, оказывается, разница, замерзать, когда больно глазам и когда не больно.

Жизнь пронеслась без явного следа, душа рвалась – кто скажет мне куда? С какой заране избранною целью? Но все мечты, все буйство первых дней с их радостью все тише, все ясней к последнему подходят новоселью. Да, в Америке умеют жить, но красиво умирать лучше всех умеем мы. А в жизни ведь нет ничего важнее смерти. Так, заверша беспутный свой побег, с нагих полей летит колючий снег, гонимый ранней, буйною метелью, и, на лесной остановясь глуши, собирается в серебряной тиши глубокой и холодного постелью.

Когда-то он Светку вслед за собою околдовывал этими звуками, и вот они же сквозь колотун пробились к нему на финише... Жалко, Светка не узнает, что в последние часы он думал о ней. А жене скажи, что в степи замерз, а любовь свою он с собой унес... Маме тоже, конечно, сообщат...

И тут он подпрыгнул как ужаленный: в мамином горе совсем не было ни искорки красоты, выдумки, это был чистопородный черный ужас, ужас, ужас... В материнском горе нет ничего, кроме правды, оттого-то и нет песен о смерти детей. Блатные знают, что почему: жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда.

Хватит сидеть, надо что-то делать! Ага, можно двигаться по разматывающейся спирали, тогда рано или поздно наткнешься на трубу. Если взять шаг спирали метра три, чтобы еще видеть свои следы, то можно добраться до трубы оборотов за десять, ну не больше же, чем за тридцать метров он от нее отошел! Но уже потому, что он не ощутил никакого всплеска радости, он мог догадаться, что в глубине души не верит в успех. И действительно, снег заносил его следы намного быстрее, чем он успевал сделать один оборот, все, чего он добился, – он окончательно утратил представление, в каком направлении находится труба и в каком Сороковая миля. Мелькнула мысль оставить в центре спирали рюкзак, но это явно был способ потерять и его, – оставить метку на снегу было так же невозможно, как если бы это была вода.

Так, не паниковать, думаем, думаем! Ветер дул справа, значит, если идти, чтобы он дул слева, то это и будет примерно обратное направление. Сколько он мог пройти со своими падениями-вскарабкиваниями, вряд ли больше километра... Значит, если считать шаги – ну, скажем, до полутора тысяч – и следить, чтобы ветер все время дул слева, то можно выйти к Сороковой миле. Если повезет. А если не повезет, идти обратно, чтоб ветер снова дул справа, и снова считать до полутора тысяч, тогда вернешься примерно сюда же.

Если, конечно, ветер дул точно справа, а не примерно справа. И если он не менял направление и в будущем не поменяет. Но все равно надо двигаться, иначе тут совсем околеешь.

Тело продолжало трястись, зубы лязгали, но ум уже соображал, что надо трястись еще сильнее, так вырабатываешь больше тепла и убиваешь страх.

Не переставая усиленно трястись, Олег не с первой попытки прыгающими руками нащупал под ватником билетные деньги в нагрудном кармане рубашки – сложенные вдвое зеленые пятидесятирублевки были на месте, Ленин с нами.

Значит, двинули, ветер должен дуть слева, слева, слева...

Раз, два, три... Ноги совершенно разучились воспринимать сигналы, они могли только сами сигнализировать о какой-то неправдоподобной боли. Но каким-то чудом они еще могли шагать. Как можно глубже вбив руки в рукава ватника, он шагал будто на протезах, трясясь всем телом и лязгая зубами, но лязгающие челюсти продолжали отсчитывать: пятьсот двадцать один, пятьсот двадцать два, пятьсот двадцать три...

Он досчитал до семисот, потом до тысячи туда, потом досчитал до тысячи обратно, потом досчитал до полутора тысяч туда, и до полутора обратно. Потом еще туда, потом еще обратно, туда, обратно, туда обратно... Время от времени в нем вспыхивала надежда, когда из взбесившегося молока проступали готические стрельчатые окна, но когда он окончательно понял, что это чахлые елочки, радость перестала вспыхивать даже на миг. А потом и елочки превратились в белые раскачивающиеся призраки. Ветер дул порывами и столько раз менял направление (или направление менял он сам), что надежды у него почти не оставалось. Но и страха тоже. Он вообще плохо понимал, что с ним происходит и где он находится, и лицо от тающего снега он больше не вытирал, да и снег, кажется, перестал таять, однако ему было лень это проверить. Он больше не чувствовал холода, ему было скорее жарко и больше всего на свете хотелось лечь и уснуть. Умом он знал, что именно так люди и замерзают, но это было ему совершенно безразлично. И все же когда он наконец твердо решился лечь, он говорил себе: «Мама!» – и какой-то огонек сознания в нем снова оживал. И он снова приказывал себе: но вот еще-то десять шагов ты можешь сделать? Значит, можешь и еще десять. Вот сделаешь сто шагов, тогда и поговорим. И он их делал и делал, и делал, покуда не ухнул в какую-то яму. Он ничуть не испугался и не удивился, даже руки из рукавов не выпростал, просто понял: он в яме. И, стало быть, наконец-то получил право отдохнуть.

Главное, сюда не задувал ветер, и значит, до утра с ним ничего не случится, здесь тепло, как на русской печке, особенно если свернуться эмбриончиком, очень экономная поза в смысле теплоотдачи. Наверно, еще и метангидрат подогревает, надо будет рассказать геологам, Обломов и с ними ведет какие-то дела.

А на боку так и совсем хорошо, вот оно, оказывается, какое бывает счастье. Только давит снизу выгнутой спиной тот мертвец, который до него здесь замерз, и тоже в позе эмбриона, только лбом в землю, – не знал дурак, что лоб лучший проводник тепла, спать в снегу нужно только на боку, иначе и метангидрат не поможет.

Неохотно, долго их расшатывая, он извлек руки из рукава и попытался кулаком промять спину предыдущему покойнику точно так же, как выколачивал пробку из токайского. Кулак, однако, сжиматься отказывался, пришлось бить ребром ладони, как каратисту. Рука ничего не чувствовала, и спина мертвеца тоже не поддавалась, но звук раздался металлический, как будто он бил по ведру. Он снова постучал – точно ведро. Пальцы не сгибались и не разгибались, но отгребать снег ими было можно, будто деревянными грабелями. Видимо, приближалось утро, и ему удалось разглядеть, что это фляга, вроде той, у которой он в какие-то незапамятные времена расстреливал трех мушкетеров.

И в нем зашевелился еще какой-то огонек. Он порылся в снегу своими грабелями, которым был совершенно не страшен холод, и двумя руками, сжимая ее с двух сторон, извлек на свет разодранную книгу. Извлек действительно на свет, тусклый, но все-таки свет. И какой-то арифмометр без всякого его участия восстановил перпендикуляр от фляги к позиции, с которой он стрелял, а оттуда уже было два шага и до барака. Встать ему удалось довольно легко,

когда он понимал, зачем это нужно. Барак оказался именно там, где он ожидал, облепленный снегом, но это уже не имело значения, потому что снег больше не шел, только все вокруг утонуло в сугробах белоснежной пены, из-за которой в мире становилось еще светлее.

И ветер тоже стих.

Белое безмолвие.

Опереться на руки он не мог, но на локтях с горем пополам выкатился. Он прикинул, куда катиться дальше – к парням или к Галке, и не колеблясь выбрал Галку. После этого катиться стало как-то неловко, пришлось подниматься на ноги. Он утвердился на них так прочно, что устоял даже после того, как под ногой катнувшись притаившаяся под снегом пустая бутылка. Он бы и на крыльцо сумел взобраться, но забыл, как это делается.

Однако постучал он по раме, а не по стеклу, он понимал, что стекло можно разбить. А когда Галка в ватничке поверх светлой ночнушки и в резиновых сапожках на босу ногу волокла его на себе в дом, он вспомнил, что такие же сапожки в сочетании с ватником были на той тетке, с которой он когда-то до своего рождения отламывал рок-н-ролл, – и с трудом, негнушимися пальцами стянул с головы забитую снегом фрицевскую обмотку. В нем даже зашевелилось желание состричь: ну как, мол, тебе долюшка русская, долюшка женская – тащить на себе пьяного мужика?.. Однако удалось выговорить только «у хах...» – продолжать он уже не пытался. И, плюхнувшись на еще довольно горячую кухонную плиту, он лишь молча высвобождал руки борцовским движением в сторону большого пальца, когда Галка пыталась стащить его с плиты, страстно убеждая, что отогреваться нужно постепенно. Зато когда она, стянув с него пудовые снегоходы, принялась по очереди растирать его пальцы то одной, то другой ноги, те выдали такой букет электрических разрядов, что он сумел по порциям довести до завершения вполне гусарскую остроту:

– Немецкие врачи... путем бесчеловечных экспериментов... открыли... что лучше всего отогревает... обнаженное женское тело.

Галка вскинула заспанные мохнатые глазки из-под свалывшейся челки:

– Что, правда, что ли?

– Неправда. Но спасибо... за готовность.

В Галкиных глазах засветилось что-то вроде восхищения:

– Вы никогда о своем не забудете!

И взялась за его руки. И болевой их разряд был таков, что к Олегу вернулся не только дар речи, но и дар мысли:

– Ты знаешь, что я понял? Родина – это не то место, где ты хочешь жить. Это то место, где не так страшно умирать.

Галка снова воззрилась на него, и что-то вроде восхищения в ее заспанных глазах сменилось чем-то вроде благоговения:

– Нет, ты и правда чокнутый!

– Это нам за бремя белых! Сама природа решила меня щелкнуть по носу... Ты жалкий пигмей... ты можешь сдохнуть в тридцати метрах около своего жилища!.. А казахи как-то находили дорогу в зимней степи... выживали в юрте, на ветру... в сорокаградусный мороз!.. Ты понимаешь – нам сама природа говорит... не заносись, не гордись своей ученостью... своими жалкими джинсами... своими рок-н-роллами... своей пацанской романтикой! Не презирай другие миры... которых ты не просто не знаешь... но и не хочешь узнать... заранее считаешь примитивными, дикими, глупыми! Они со своей дикостью... выживали в нечеловеческих условиях... а ты, дурачок, чуть не загнулся около своего теплого... дома!

Галка наконец-то забыла о его руках и вглядывалась в него так пристально, как будто не слышала в своей жизни ничего более захватывающего. А потом совершенно неожиданно притянула его к себе за шею и припала к его губам своими ужасно горячими губами.

Он оцепенел, а ее горячему поцелую все не было и не было конца.

Порог

Олег не завопил только оттого, что онемел от ужаса, – возникнуть из небытия лицом к лицу с молодым, но уже безжалостным герцогом Альбой, острая черная борода которого жирно блестела, словно ее наваксили...

– Все царство небесное проспите, Олег Матвеевич!

Уфф, это Галка...

Опять, правда, недовольно поблескивает мохнатыми глазками из-под челки, словно хорошенькая болонка, – как будто не она только вчера... нет, позавчера целовала его в губы на горячей кухонной плите! А герцог Альба – всего-то навсего родной Грузо, Костя Боярский, его ж вчера в Москве в шикарном барбер-салуне из Фиделя Кастро перестригли и перебрили в испанского гранда. Там, впрочем, и всех перестригли и перебрили. А дикий мир вокруг – это *пультмановский* вагон, в который они вчера ввалились с таким галдежом, под который он и вырубился, не раздеваясь.

Он начал вырубаться еще в ресторане сверхпунктового отеля с видом на кремлевские звезды, у портала которого встречала невидимая надпись WHITE ONLY. Но две зелененькие пятидесятки, которые Грузо аристократическим касанием вложил в руку дормена, открыли им путь в высшие сферы. Взор привратника поднялся выше звезд, так что под ним прошел незамеченным даже Иван Крестьянский Сын, из принципа сохранивший синюю спецовку, – спасибо, кирзачи сообразовали переменить на кроссовки вслед самому Олегу, уже в аэропорту избавившемуся от пудовых плотничьих ботинок с круглыми чугунными носами. Эту небесную диагональную робу Мохов протаскал на своих сутулых мосластых плечах всю шабашку, остальная же бригада в ковбойках смотрелась вполне по-ковбойски даже и в отечественной или польско-венгерской джинсуре – все как на подбор узкобедрые, только Боря Кац, Кацо, выделялся упитанностью и круглизной, трогательной, каковая и подобает комическому любимчику. Галка в обтягивающих клешках аппетитной женственностью тоже подчеркивала мужественность своей свиты. А Бахыт-Бах смотрелся последним из могикан, примкнувшим к бледнолицым покорителям фронта (пионеров, как и все, к чему ни притронется, испоганила советская власть).

Великолепная чертова дюжина.

Лбов, правда, для ковбоя слишком приземист и надут, будто какой-то маленький начальник. Это у него такой юморок, на деле-то он тут самый лихой, – только гравитационное поле Обломова могло вытянуть его из Таза, где он безмятежно расцветал в качестве речного волка. Питу Ситникову тоже лучше всего подходит роль очкарика, способного внезапно уложить парочку амбалов, – и его из военно-морских сил вытянуло личное поле Обломова через трибунал и восемь часов за бортом в Черном море.

– Рыцари круглого стола, – обвел Олег рукой бриллиантовое сверкание хрусталей и альпийскую белоснежность крахмальных конусов.

– Какой я тебе рыцарь? Ты меня что, совсем за женщину не держишь? – уже тогда начала заедаться Галка. – У тебя все время какие-то комплименты странные – дочь полка, маленькая атаманша...

– А что для тебя женщина? Она курила пахитоску, чертя по песку желтой ботинкой, заложив кольцо за корсаж? Разве такая меня бы вчера оттерла?

При слове «оттерла» по кругу пробежала сдержанная ухмылка, только Боря просветлел своей круглой мордочкой:

– Лучшие мужчины – это женщины, это я вам точно говорю!

– Ты на своей Фатке женился из-за того, что она лучший мужчина?

Какая ее муха?.. Знает же, что Кацо из-за Фатки с третьего этажа на раме спланировал!..

– Галочка, давай никогда не ссориться, мы же все тебя любим! А меня ты, может, вообще спасла, я же в полном смысле ног под собой не чуял!

– А потом опять поперся в тундру! Порядочная баба бы на тебе повисла!..

– Так шпихал Заратуштра: пообещал – сдохни, а сделай! Мы же рыцари круглого стола!

– Какие мы рыцари, – о, Мох опять загудел, мрачно синяя глубоко погруженными в мосластый череп глазами, – если в своей стране должны в кабаки за бабки протыриваться! Иностранцам можно, а нам нельзя! Вы хоть понимаете, что барыги реально родиной торгуют?

– Заплати больше и перекупи, – Грузо при своей черной эспаньолке и угольно-черных глазищах прям-таки Великий инквизитор!

– Ты что, не понимаешь, что барыги все делают с благословения начальства? – Олег тоже подсел на своего Росинанта.

– Так это же русское гостеприимство – гостям все лучшее! – громко хмыкнул Бахыт.

– Слушайте (запинка – Лбов проглотил матерок), дайте (запинка) пожарь, родина (запинка) подождет – помидор же все лето не видели!

И все, как будто снова вернулись на Сороковую милю. Редкие беззвучные иностранцы за соседними столиками окончательно исчезли, развернулся обычный упоительный галдеж, и не все ли равно, рубать дюралевыми ложками из дюральных мисок «Завтрак туриста» под «Горный Дубняк» или мельхиоровыми вилками из фарфоровых тарелок буженину с хреном и истекающие раскаленным янтарным маслом котлеты по-киевски под экспортную «Столичную» (Галка передергивается, но старается не отставать), – главное – закрепленное Севером братство! И что с того, что студенческая жизнь подходит к концу, – их союз – он, как душа, неразделим и вечен! Как же ему, рядовому чечако, было вчера снова не отправиться через тундру ради таких парней, если он заблудился там по своей же дурости? (А Галка, сколько бы ни взбрыкивала, все равно свой парень, из своих свой.)

Да и что уж на этот раз в тундре было особенно страшного? Буран, в котором он и правда только что чуть не замерз, улегся, рассвет уже вовсю алел и зеленел на горизонте, от чистейшего снега становилось только светлее, отопительная труба, ведущая в цивилизацию, отчетливо серела – чего еще надо? Да, белое безмолвие уже показало свой нрав, но оттого в нем лишь прибавилось величия – величие ведь невозможно без примеси ужаса.

А цепочка черных следов от его чугунных ботинок среди бескрайней белизны наполнялась такой многозначительностью, что сердце замирало. Зато ноги снова шагали так послушно, что приходилось делать усилие, чтобы не перейти на рысь. Притом и польские джинсики, хоть и подсохшие, в отличие от верного друга ватника почти не грели, а потому сложенные вчетверо запасные трусы он извлек из трусов только на пустом трапезном вокзальчике, с легким сожалением отметив, что стал выглядеть несколько менее внушительно.

Подкидыша до аэропорта еще не было, и он с сознанием выполненного долга, подложив рюкзак под поясницу так, чтобы в нее не упирался топор, уселся на громоздкий фанерный диван МПС лицом к перрону и позволил себе на мгновение прикрыть глаза. А когда он их открыл, поезд уже трогался. К счастью, двери были старинные, подножки выпирали волевыми подбородками – он легко вскочил на ходу, хоть его и пошатывало со сна.

В трапезном аэровокзале – кожаные куртки, брошенные в угол... – борьба велась исключительно за близость к кассе, потому что билетов не было. Большие всех нагнал один мужик с отвисшей нижней губой, придающей ему на зависть презрительный вид. Каждому, кто выражал ему недовольство, он отвечал разочарованно: «Нет, ты не северянин», – а когда какая-то наивная душа воззвала к его совести, он пресыщенно усмехнулся: «Где совесть была, там хер вырос».

Но Олег подобрался к кассе с тыла, на злой женский отклик из-за двери проникновенно ответил: «Я от Сергей Сергеевича» – и уже через пять минут с билетами в нагрудном кармане

сидел в буфете за дрянным, но горячим кофе, искоса поглядывая на соседей по столику, выискивая, чем бы в них восхититься. Один, простецкий, был похож на писателя Шукшина, другой, барственный с поправкой на Заполярье, на Брежнева. Брежнев с Шукшиным потягивали чай, и Брежнев время от времени произносил мечтательно: «Сейчас бы российской...» – а Шукшин жалобно переспрашивал: «Какие сиськи?..» – и каждый был по-своему прекрасен.

За два года десять тысяч наэкономил, почтительно рассказывал про кого-то Шукшин, искательно заглядывая Брежневу в глаза, но Брежнев лишь пренебрежительно сронил через губу: ну, это чепуха, и Шукшин увял, даже жалко его стало.

Масштаб у человека – им бы со Светкой эти десять тысяч, сразу бы кооперативная квартира! Но о таком и мечтать невозможно.

А в ушах меж тем не умолкала музыка: по берегам замерзающих рек снег, снег, снег...

– Олечка, ты что, заснул? – Галкин голос звучал нежно, как прошлой ночью на плите, но взгляд его прыжком уперся в нависшего над ним исполинского паука, меж лап которого, тонких и невероятно длинных, как у Дали, стыло белоснежное облако, насыщенное бриллиантовыми, готовыми вот-вот пролиться слезами.

Только боль в затылке открыла ему, что он лежит затылком на спинке стула и смотрит в ресторанный купол, в стеклах которого отражается их пиршественный стол. Он очумело посмотрел на Галку и спросил:

– А ты знаешь, что первую вилку в Россию привезла Марина Мнишек?

Галка сокрушенно покачала своей челкой, разглядывая его взором любящей мамы:

– И чем только твоя головушка забита?..

А теперь с утра с чего-то снова начала фордыбачить.

За окнами, постукивая, проплывали на удивление летние громады Ижорского завода, листва на деревьях была в основном зеленая, но сухая, как на банных вениках. Нужно было срочно сбегать в нужник да поплескаться в физиономию холодной водой, чтоб хоть немного очухаться. Но, утираясь вытертым вафельным полотенцем, он почувствовал, что невозможно просто так взять и разойтись по собственным скучным делам, нужно было как-то возвысить возвращение в суету городов и в потоки машин. Начать с тамбура – наверняка там кто-то курит.

Так и есть – бывалый Грошев, усики с чего-то разглажены, но шкиперская трубка снова извлечена из небытия.

– Привет, заскочим в «Манхеттен», пропустим по дринку на посошок? Перед суровыми буднями? А ты чего с рюкзаком?

– Хочу выйти из другого вагона, а то поганок на посошок опять накидаете. Уйду снова в море, пошло оно все на хер!

– Так до диплома четыре месяца, как-то уж перекантуйся?..

– У меня же еще электродинамика не сдана. И термодинамика. Секретарша прикрыла. Я ее за задницу пару раз подержал, обещал досдать... Но перед защитой-то точно раскопают. Ладно, держи краба!

Все-таки пожал напоследок руку, прежде чем грохнуть дверью, – гравитационное поле бывалости все-таки перетянуло. Да, не надо было его уличать в сачкизме, пусть бы уж так и крутил свой холостой коловорот. А секретарша Валя с ее мордовскими скулками и черненькими глазками – она ведь покрывает только несчастненьких, а к наглецам не знает жалости, – не привирает ли Грошев? Правда, у мороженщицы рядом с общагой для него реально всегда на краешке был отложен полтинник...

Нет, с мужиками проще.

Однако и мужики его огорошили. Тарас Бонд-Бондарчук и рыжий Анатолий-Барбаросса, друг напротив друга зеркально опираясь локтями на тугие рюкзаки, объявили, что организо-

ывают свою бригаду, а то тут приходится обрабатывать слишком многих нахлебников: им не нравится принцип «от каждого по способностям, всем поровну». Как будто дружба не дороже этих копеек... Но их, похоже, захватило другое гравитационное поле. Не бабок, это было бы слишком горько, – собственной отдельной силы.

Ну да, зачем тогда и пить на прощанье?

Барбароссе было все-таки неловко, он искательно показал на Олега полусогнутым пальцем и робко предложил:

– Может, Севу возьмем, он может темп давать? – но Бонд не услышал – он и при своем утином носике умеет быть значительным, еще б ему шевченковские усы...

А кругленький Боря и атлетический Тед прослушали это кощунственное заявление, как будто так и надо, – они тоже, оказывается, выбрали отступничество: у Теда скоро первенство города, а Боря еще из Москвы дал телеграмму Фатиме, она его ждет в общежитии, у них там комната.

– Нас на бабу променял? – на перроне, тоже удивительно летнем, попенял ему Лбов, и Боря слегка помариновал его в скорбном взгляде, прежде чем ответить:

– Лбов, почему ты всегда хочешь казаться хуже, чем ты есть? Фатима не баба, она удивительная женщина.

И засеменял вдоль Фатькиных силовых линий под абалаковским рюкзаком размером с него самого.

– Чего там удивительного, – недовольно пробурчал Лбов, – три п...ды, что ли?

Без Галки он уже не запинался – Галку тоже увлекли сепаратистские силы: не хватало-де ей с мужиками по шалманам таскаться, да еще с утра!

– А чего такого? – попытался переубедить ее Лбов. – Сейчас фингал под глазом подрисуем – нормально впишешься!

– Вписывайтесь сами, пока! – и хоть бы улыбнулась на прощанье!..

Вот Лбова и самый злобный клеветник не упрекнул бы в том, что он способен променять друзей на бабу. Прошлой весной в общежитии они с Лбовым лежали брюхом на подоконнике и блаженно пилились на солнечную улицу; внизу проходила стайка высвободившихся из зимних шкур фармацевтичек, и Лбов попросил Олега свистнуть им в два пальца. «Эй, девки, заходите!» – крикнул им Лбов, и одна из них, запрокинув голову, прокричала в ответ: «А в какую комнату?» Лбов ответил, как он выражается, со смехуечками, и тут же забыл. И вдруг минут через пять стук...

У них и брак был гостиничного типа: как она приходила, никто не видел, зато смотреть, как они выходят, все припадали к окнам – Лбов важно вышагивал впереди, а супруга покорно поспешала сзади. Перед шашкой он отправил ее рожать к себе на Таз, но в какой фазе пребывает ситуация на текущий момент, кажется, не знал и сам Лбов. По крайней мере, супружеские обязанности не мешали ему заглянуть в «Манхеттен» перед тем, как разбежаться.

А вот Иван Крестьянский Сын завел было нудоту насчет того, что у бати ремонт, побелка, купорос... Да не заморачивайся ты, хлопнул его по мосластому плечу Олег, я за тебя заплачу, у меня излишки скопились! Поразить Светку ему хватало и шестисот рублей под стелькой – зарплаты мл. науч. сотра за полгода, так что прочая мятая капуста, рублей что-нибудь семьдесят, вполне могла быть потрачена на эффектный финальный аккорд их северной симфонии. Мохоу, однако, засмутился и про домашнюю скуку больше не заговаривал: для скуки у них вся жизнь впереди.

Но Гэг-Гагарин и Пит Ситников, кажется, твердо выбрали скуку: открыто заторопились на поезд в Донецк. Гагарина-то можно понять: позволил себя увлечь силовым линиям удалого гопничества и упустил возможность сделаться спутником великого Обломова, так что теперь ему наверняка мучительно смотреть на чужое счастье. Впрочем, и Пита из его военно-морских

недр извлекло именно Обломовское поле, а раз уж в космосе Обломова удержаться не удалось, так лучше вернуться в хаос бесцельной лихости, чем прозябать среди расчисленных светил.

Так и пошли они, солнцем палимы, узкобедный плечистый легкоатлет и щуплый, по плечу ему очкарик, куда более опасный при своей невесте где подхваченной учтивости: чем наглее на него наезжают, тем корректнее он становится, а когда он переходит на «вы», нужно немедленно извиняться, иначе вдруг последует короткое неуловимое движение...

Как-то они там приживутся в угольной промышленности?..

Изменники братству словно бы приоткрыли дверь в унылый взрослый мир, где каждый выживает в одиночку, и даже ящик пива так и не позволил эту дверь задраить. И разговор застольный плелся через силу, не бил фонтаном, как бывало на Северах. Гипнотизеры знают: стоит появиться в зале одному скептику, и внушение перестает действовать на всех. Дружба, похоже, такой же гипноз: пренебрежет один – и чарам конец. Хорошо еще, в «Манхеттене» гремела и бесновалась свадьба, которую приходилось перекрикивать, а то натужность их бодрости вскрылась бы с первой же минуты.

Зато Лбов после первого же едва различимого сквозь грохот стереосистемы клаясь бутылочками «Двойного золотого» замахнулся на еще более волшебные чары. Наехав для начала на Олега с Моховым и Бахытом:

– Слушайте, мужики, вы так и собираетесь до пенсии при Обломове шестерить?

Он орал так, что жилы на шее вздувались, и все-таки Муслим Магомаев из стереосистемы его перекрывал:

– А эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала!..

– Почему шестерить, – пришлось тоже обиженно орать Олегу, – сотрудничать! У Обломова столько разных направлений, каждому найдется дело!

Инквизиторский профиль Боярского он едва различал краем глаза, но ему показалось, на нем проступило злорадство. Что ж, естественно отвергать мир, который тебя отвергает.

– Обломыч-то, понятно, на все руки! Авто-мото-вело-фото-гребля-е...ля и охота! Только вы-то тут при каких делах?!

– И крылья эту свадьбу вдаль несли-и!..

Олегу пришлось выбулькать до донышка очередную бутылочку «Двойного золотого», прежде чем решиться проорать свой ответ – такие вот времена, что приходится стыдиться высокого в себе.

– Ты слышал такую притчу? Один каменщик говорит: я обтесываю камни, а другой – я строю Шартрский собор! Ты понимаешь? Историю творят гении! А кому, как ты выражаешься, повезло при них шестерить, они тоже в этом участвуют! И тоже становятся большими людьми!

– Был жених серьезный о-очень, а невеста-а ослепительно была молодой!

– Так что, вы, получается, большие люди, а мы с Грузо маленькие?

– Какого размера твое дело, такого и ты! Что выберете, такими и будете!

– И неба было мало и земли!

Олег нашарил в пластиковом ящике под столом еще одно «Двойное золотое» и, только выбулькав его до половины, решил покоситься на Грузо и Бахыта. Испанец и индеец смотрели на него так, будто он говорил что-то совершенно неожиданное и они не знают, как к этому отнестись. А Иван Крестьянский Сын, набычась, прогудел:

– Будем развивать русскую науку.

– Меня из русской науки выставили, – мгновенно откликнулся Боярский, словно только и ждал повода, – я теперь безродный космополит. Ты, Мох, вроде бы хороший мужик, а гонишь фашистскую херню!

– У вас, назовешь себя русским, и сразу записываете в фашисты.

– Горь-ко, горь-ко, горь-ко!

Во главе длинного стола жених серьезный очень в черном костюме и белой рубашке целовался с кисейной барышней, а другие черные костюмы прыгали и дергались среди разноцветных праздничных платьев перед возвышением, на котором по вечерам разорялся эстрадный оркестрик на фоне словно бы крупного паркета из вертикальных лакированных досок, нижние ряды которых были заметно темнее верхних, образуя как бы силуэт небоскребов Манхэттена. Которых, разумеется, никто не видел, но рассказывали, что отделкой молодежного кафе «Космос» занимался бывший ихний студиязус: его турнули за вольномыслие, а он в отместку вместо космоса протащил Манхеттен.

Притом прямо напротив факультета, только через площадь небольшую перейти. Что они частенько и проделывали и всегда оказывались среди своих. Правда, сегодня пришлось пробираться через радостно гомонящее племя младое, незнакомое, многие, девчонки особенно, еще и с цветами, с папашами-мамами – день первокурсника, букваря...

А Лбов все не сводит с него своих кабаньих глазок, на нем и щетинка кабанья за ночь наросла...

И наконец разрешился:

– Я и не знал, что ты такой мудила.

– Ну что ж, теперь знаешь.

– Горь-ко, горь-ко, горь-ко!

– Да нет, ты не мудила, ты салага.

– Ладушки. Я салага, ты речной волк.

– На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась компания блатная, – томно заняла стереосистема, и цветастые девушки из-за свадебного стола вдруг потекли приглашать их на салонное танго, неразобранным остался только Лбов. Пригласившая Олега дама в розовом оказалась далеко не молоденькой, лет тридцати пяти, и, похоже, сама устыдилась своей смелости, все твердила ему на ухо, что вообще-то она к мужчинам никогда не пристаёт, а он отвечал, что, наоборот, надо к ним приставать, а то они из своих разборок никогда не выберутся, и пытался, справляясь с пивной качкой при помощи ее упитанной талии, изображать некую аргентинскую пробежку, о которой не имел никакого толкового понятия, их же никто не учил танцевать, только ругали за то, что неправильно танцуют...

А в ушах звучало: но на танго все это было непохоже, когда прохожему заехали по роже, – кажется, черные костюмы были недовольны внедрением в их черно-розовую среду чужаков в ковбойках: синеглазый Мохов был принят более благосклонно, когда танго стихло, он уже с кем-то убедительно гудел: тсамое, тсамое... Олег, поймав недобрый взгляд одного из женихов – двойное золотое лишило его возможности их различать, сказал ему примирительно: «Мы только что из тундры», – но тот ответил крайне нелюбезным кивком.

И тут откуда ни возьмись перед ним возник Боря Кац. Сбежал от Фатки! Все-таки есть на свете дружба!

– Боря, друг, спасибо, что пришел, ты вернул мне веру в человечество!!

Он тискал Борю в объятиях, стараясь не шататься, и круглая Борова мордочка тоже светила радостью, хотя и более сдержанной – пиджачок и галстук обязывали.

– Сколько палок кинул, Кац? – поприветствовал Борю Лбов, и полилось под посолённые сушки «Двойное золотое» из нового ящика, и беседа полилась под стереосистему теперь уже совершенно искренняя и неподдельная, будто на Сороковой миле.

– Пора отлить, – наконец начал приподниматься Лбов, и Олег осознал, что и в самом деле пора, и притом давно.

В сортирный коридор двинули все, кроме Бори. Чернокостюмная очередь в «Мэ», однако, тянулась как до мавзолея (а на «Же» вдоль другой стены и коситься не хотелось), не прочесть было даже черно-белый и крупный, как первая строка в глазном кабинете, плакат на

двери: «Не льстите себе, подходите ближе к унитазу». Этот плакат кто-то не ленился вычерчивать тушью на ватмане и возобновлять каждый раз, когда его снимали.

Лбов сначала бодрился:

– Помните, как американка метро искала? Она спрашивает: метро, метро?.. Ей говорят: идите прямо, увидите букву Мэ и заходите. Она доходит до галлона, видит Мэ, заходит. А там мужик отливает. Она его спрашивает: метро, метро?.. А он говорит: нет, у меня только полметра.

Байка успеха не имела – все с тоской смотрели на уходящую вдаль чернокостюмную очередь и понимали: не дотерпеть...

Лбов сломался первым:

– Все, мужики, щас уссусь. Пошли на улице отольем.

– Как на улице, там же день букваря?..

– Встанем в кружок и в середину отольем. Мы на берегу всегда так делали. И Борю прихватим для прикрытия.

Боря заерепенился, но был сломлен: твои друзья на грани жизни и смерти, а ты строишь из себя целку?..

Все-таки они изрядно набрались, толпа вокруг воспринималась как разноцветная шевелящаяся масса, отдельно Олегу бросилось в глаза только то, что Мохов держал свой прибор сверху, как будто брезговал, а Лбов, закончив дело, еще и хорошенько его обтряхнул, удовлетворенно прибавив:

– Как ни ссы, а последнюю каплю в трусы.

После этого Олег поднял глаза над толпой и увидел в факультетском окне второго этажа замдекана Баранова, снимающего их какой-то шикарной фотокамерой с полуметровым объективом (вот они, полметра, накаркал!). Баранов был знаменит тем, что по каким-то делам побывал в самом настоящем Нью-Йорке и жил там в отеле «Парамаунт». Зашибись – *Парамаунт!* Оттуда, наверно, и камеру вывез.

– Слышь, вы чо творите?! – один из женихов за локоть развернул Лбова к себе.

Ой, не с той фигуры он начал!.. Но вмешиваться было поздно.

– Подожди минутку, – Лбов сделал останавливающий жест с насупленным видом маленького начальника и, сосредоточившись, издал раскатистый неприличный звук.

И пояснил обезоруживающе:

– Поссать и не перднуть – это как свадьба без музыки.

– Ты... Ты это... Я не позволю тебе свадьбу оскорблять!

– Ты комсомолец? Знаешь, что будет, если комсомолку перевернуть вверх ногами? Комсомольская копилка.

Жених все с тем же оцепенелым видом начал разворот правой, но Лбов сделал короткое движение левой, и черный костюм скорчился на корточках.

– На все плюнь, а яйца береги! – наставительно указал его новостриженому затылку Лбов и обратился к черной лавине, набегающей из «Космоса».

Арончик мальчик был, как говорится, пылкий, он врезал Монежке по черепу бутылкой...

Последним проблеском надежды пролилась нескончаемая трель милицейского свистка, а потом Олег только отбивался, чувствуя, что права на драку они не имеют, но в глазах отпечатались синяя фигура Мохова, который именно махался, словно разудалый косарь – раззудись плечо...

Кто-то сзади обхватил его поперек рук, он, резко присев, разорвал захват и, выпрямившись, двинул локтем назад на уровне головы. Стремительно оглянувшись, он увидел, как по асфальту катится алый околыш милицейской фуражки, и понял, что погиб.

Соппротивление могло лишь добить последние шансы на спасение, поэтому он старался даже не мычать, когда, вывернув руки до небес, его волокли в воронку, чертя его носом по

асфальту. И когда с него срывали рубашку и что-то вкалывали в сгиб руки, он лишь старался смягчить победителей своей кротостью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.